

В нашей библиотеке по теме
«Великая французская революция и литература»
размещены следующие книги и статьи

Николай Иванович Кареев

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

Петроград: книгоиздательство «Святесть». 1923

Ссылки: http://narod.ru/disk/10028920000/kareev_it.pdf.html

http://narod.ru/disk/10042373000/Kareev_Francuzskaja_revolucija_v_istorich_romane.djvu.html

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Л., 1990

Скан разделен на 6 pdf-файлов. Ссылки:

<http://narod.ru/disk/8193483000/rus-ll1.pdf.html>

<http://narod.ru/disk/8193505000/rus-ll2.pdf.html>

<http://narod.ru/disk/8193532000/rus-ll3.pdf.html>

<http://narod.ru/disk/8193563000/rus-ll4.pdf.html>

<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/Rus-ll6.pdf>

<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/Rus-ll7.pdf>

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРОПЫ

Межузовский сборник науч.трудов. Куибышев, 1989

Скан разделен на 4 pdf-файла. Ссылки:

<http://vive-liberta.narod.ru/journal/LI1.pdf>

<http://vive-liberta.narod.ru/journal/LI2.pdf>

<http://vive-liberta.narod.ru/journal/LI3.pdf>

<http://vive-liberta.narod.ru/journal/LI4.pdf>

М.Разумовская. «Читать ли?» О проблеме книги во Франции 18 в.

и в романе Гончарова «Обрыв» http://enlightenment2005.narod.ru/papers/rasumv_lect.pdf

Пьесы Фабра д'Эглантина (фрагмент книги Д.Обломиевского

«Литература Великой французской революции») http://vive-liberta.narod.ru/biblio/oblmv_fabre.pdf

Андре Шенье и Революция (фрагмент книги Д.Обломиевского

«Литература Великой французской революции») http://vive-liberta.narod.ru/biblio/Ch_Obl.pdf

А.Дейч. Красные и черные: театр в эпоху революции

http://vive-liberta.narod.ru/biblio/red_black_1.htm

Ю.Попов. Публицисты Великой французской революции

http://vive-liberta.narod.ru/journal/revol_gazel.htm#popov

Р.Роллан, «Четырнадцатое июля»

http://vive-liberta.narod.ru/biblio/robsp_raskl.htm#m-rolland

Р.Роллан, «Робеспьер» (фрагмент драмы)

<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/RR1.pdf>

Подборки ссылок:

Николай Михайлович Карамзин: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#karamz>

Александр Николаевич Радищев: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#rad>

Жан-Жак Руссо: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#jruss>

Вольтер: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#V>

Бомарше: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#bmch>

Монтескье: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#mnt>

Дидро: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#DD>

Шюлерпо де Лакно: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#ChL>

Андре Шенье: http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#chn_a

Мари-Жозеф Шенье: http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#chn_mj

Ромен Роллан: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#mRmRl>

Виктор Гюго: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#huogo>

Анатоль Франс: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#fran>

М.З.42.728П

Проф. Н. К. Гудзий

ФРАНЦУЗСКАЯ
БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

I

В десятилетия, непосредственно предшествовавшие Французской буржуазной революции, русская общественная мысль успела широко ознакомиться с произведениями предреволюционной французской просветительной философии и художественной литературы и в ряде случаев глубоко их освоить. Монтескье, Вольтер, Дидро, Даламбер, Гельвеций, Мабли, Руссо были очень популярны в русском обществе.

Философский и политический радикализм французских просветителей некогда рельефно даже тех, кто после пугачевского восстания стал во враждебное отношение к их идеям (вспомним хотя бы Богдановича, Хераскова). Приверженность к французской просветительной литературе обнаружилось у нас в XVIII в. главным образом дворянство — и потому, что для усвоения ее необходим был тот культурный

уровень, которым обладал лишь господствующий класс, и потому, что она на известном этапе развития дворянского самосознания укрепляла позиции дворянства в его борьбе за свое политическое и культурное самоопределение, за упрочение «вольности дворянской». Кроме того, для прогрессивно мыслявших дворянских кругов приобщение к идеям французской просветительской философии означало дальнейшее углубление тех культурных связей России с западом, которые особенно усилились со времени Петра и поддержаны были наиболее передовыми слоями тогдашнего русского общества.

Для огромного большинства русских последователей французской философии политическое свободомыслие не шло дальше исповедания принципов просвещенного абсолютизма. Как почти все французские просветители, они ратовали большей частью не за республику, а за ограничение самодержавия нормами конституционного порядка. Ни Николев в своей трагедии «Сорена и Замир», ни Княжнин в «Вадиме Новгородском» не были пропагандистами республиканских идей, хотя их пьесы появились после Американской революции, когда республиканская идеология получила значительное практическое подкрепление.

По словам С. Н. Глинки, Княжнин незадолго до смерти написал под впечатлением событий Французской революции статью «Горе моему отечеству». Глинка утверждает, что в рукописи «страшно только одно заглавие» и что мысли Княжнина были «патриотические, но не дерзновенные». В основном они сводились к тому, что «должно сообразоваться с ходом обстоятельств и что, для отвращения слишком крутого перелома, нужно это предупредить благоприятным устройством внутреннего быта России, ибо Французская революция дала новое направление веку»¹. Другими словами, Княжнин, в интересах монархической власти в России, рекомендовал монархине вступить на путь реформ, учтя уроки Французской революции и не подвергая монархический режим риску «слишком крутого перелома».

Последовательным и убежденным республиканцем в XVIII в., осуждавшим самое существо монархической власти, был у нас едва ли не один лишь Радищев. Даже такой политический вольнодумец, как Кречетов, вряд ли был сознательным приверженцем республиканского строя. По крайней мере, судя по показаниям Окуло-

¹ Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб. 1895, стр. 97.

ва, свидетеля по его делу, Кречетов проецировал организацию общества, которое должно было предохранить Россию от участи Франции¹.

Платонические республиканцы, вроде молодого Карамзина, конечно, в счет не идут.

Свидетельства современников говорят о том, что первые известия о Французской революции встречены были очень сочувственно в различных слоях русского общества, не связанных непосредственно с правительственными кругами. Так, Сегюр, французский посол при дворе Екатерины, в своих воспоминаниях сообщает, что весть о взятии Бастилии, быстро распространившись по Петербургу, возбудила при дворе сильное волнение и неудовольствие, но в городе впечатление от этого события было совершенно иное. Оно вызвало взрыв энтузиазма среди негоциантов, купцов, мещан и даже некоторых молодых людей более высокого общественного круга. «Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы, все, посреди улицы, — пишет Сегюр, — поздравляли друг друга, обнимались, точно их избавили

от тяжелой цепи, сковывавшей их самих». Увлечение это продолжалось, впрочем, недолго, потому что «Петербург не был ареной, на которой можно было безопасно обнаруживать подобные чувства»¹.

Известно, что два князя Голицына, жившие в Париже, с ружьями в руках принимали участие во взятии Бастилии и что молодой граф П. А. Строганов, приехавший в Париж как раз в то время, когда во Франции происходили выборы в Национальное собрание, и руководимый своим воспитателем Роммом, был очень частым посетителем заседаний Национального собрания, а в начале 1790 г. он одним из первых записался в члены основанного Роммом клуба «Друзей закона», где принимал деятельное участие в прениях. Вскоре он стал и членом якобинского клуба, получив при этом диплом за подписью председателя клуба Барнава. По словам Ромма, Строганов произносил там пламенные речи вроде следующей: «Прекраснейшим днем моей жизни будет тот, когда я увижу Россию обновленной при помощи такой же революции. Быть может, я тогда

¹ См. Н. Чулков. Ф. В. Кречетов — забытый радикальный публицист XVIII века. «Литературное наследство», № 9—10. М. 1933, стр. 467.

¹ *Memoirs ou souvenirs et anecdotes, par le comte de Segur, 12-me édition, v III, Paris, стр. 508.*

² «Исторический вестник» 1903, № 6, стр. 907.

смогу играть в ней ту же роль, какую играет здесь чудесный Мирабо»¹.

Очень любопытен следующий рассказ. Статс-секретарь Екатерины П. А. Сойморов, вернувшись осенью 1789 г. в Петербург, застал у себя дома иллюминацию из множества маленьких свечей, устроенную, по поводу взятия Бастилии, его семилетней, не по летам развитой дочерью Софьей, впоследствии вышедшей замуж за Свечина. На вопрос отца о причине иллюминации девочка ответила: «Но, папа, разве не нужно было отпраздновать взятие Бастилии и освобождение этих бедных французских арестантов?»².

Вигель в своих «Записках» упоминает о своем знакомстве с Михаилом Александровичем Салтыковым, в молодости адъютантом при Потемкине, «человеком чрезвычайно умным, исполненным многих сведений». Он увлекался философами XVIII в. и был особенно страстным поклонником

¹ Великий князь Николай Михайлович. Граф Павел Александрович Строганов. Спб. 1903, т. 1, стр. 43 и сл. Участие П. А. Строганова во Французской революции послужило темой романа М. Загуляева «Русский якобинец (Странная история)». «Вестник Европы», 1883, № 9—12, и отдельно. Спб. 1885.

² Falloux. Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres, v I, Paris, 1860, стр. 17.

Руссо. «Во время революции, — пишет Вигель, — превозносил он жирондистов, а террористов, их ужасных победителей, проклинал, но как в то время у нас не видели большой разницы между Барнавом и Робеспьером, то едва ли не прослыл он якобинцем»¹.

В начале 1790 г. наставник вел. князя Александра Павловича протоиерей Самборский писал гр. Н. И. Салтыкову: «Вольноглаголение о власти самодержавной почти всеобщее, и чувство, устремляющееся к необузданной вольности, воспалившейся примером Франции, предвещает нашему любезнейшему отечеству наужаснейшее кровопролитие»².

Эдмонд Жанэ, исполнявший обязанности посла при русском дворе во время отсутствия Сегюра, в письмах к французскому министру иностранных дел гр. Монморену, написанных в ноябре 1791 г., сообщает о том, что он видел в Петербурге людей, плакавших от радости при вести о том, что Людовик XVI принял консти-

¹ Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть третья, М. 1892, стр. 59.

² В. И. Семевский. Вопрос о преобразовании государственного строя России в XVIII и первой четверти XIX вв. «Былое», 1900, № 1, стр. 18.

туцию, и слышал, как некоторые говорили, что если бы их братьям, сыновьям или родителям пришлось вести войну с французами, они заклинали бы их стрелять в воздух. К Жанэ, как представителю Франции, многие являлись с визитом, чтобы засвидетельствовать свои горячие симпатии к его возродившейся родине. До Жанэ доходили из Москвы слухи, что там настроение в пользу революции еще более сочувственное. По его словам, молодые великие князья рассуждали о злоупотреблениях феодального режима, пели во дворце революционные песни и на глазах у фаворитов вынимали из карманов трехцветные кокарды. Тот же Жанэ пишет о том, что французские события вызывали сочувственное отношение у гвардейских офицеров, которые в театре аплодировали тем местам в «Свадьбе Фигаро», в которых намекается на глупость солдат, идущих на смерть неведомо за что¹.

В августе 1792 г. кн. В. П. Кочубей пишет гр. С. Р. Воронцову: «Вы не поверите, сколько наделала зла эта французская революция. Она имеет у нас, как и в дру-

гих местах, много приверженцев»¹. Гр. Ф. В. Ростопчин в октябре 1793 г. сообщает С. Р. Воронцову, о том, что графиня Салтыкова, урезонивая своего племянника не носить большого якобинского галстука, запрещенного императрицей, услышала от него такие громкие слова о свободе, что пустилась бежать со всех ног, понимая, что тут зреют семена революции². Тот же Ростопчин уже в начале 1802 г. жалуется С. Р. Воронцову на «дьявольскую петербургскую молодежь, которая заслуживает того, чтобы быть усыновленной Робеспьером и Дантоном»³.

События Французской революции нашли себе живой отклик, между прочим, среди воспитанников Шляхетного корпуса. Один из них — С. Н. Глинка — сообщает о том, что директор корпуса граф Ангальт, ничего не говоря о каких-либо отдаленных причинах революции, но желая ознакомить кадетов с тогдашней обстановкой, завел в зале новый стол со всеми повременными заграничными известиями. После смерти Ангальта в 1794 г. заграничные газеты и журналы были убраны из корпусной

¹ «Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France. Russie», vol. 2. Paris, 1890, стр. 518—520.

¹ Архив кн. Воронцова, т. XVIII, М. 1880, стр. 44 (перевод с франц.).

² Там же, т. VIII, М. 1876 стр. 85.

³ Там же, т. VIII, стр. 297.

библиотеки, но в это время в корпус поступил учитель французского языка швейцарец Паш, от которого Глинка получал сведения о Французской революции и который передал ему текст Марсельезы, переведенный Глинкой на русский язык¹.

Сочувственные отклики на Французскую революцию шли даже из глубины Сибири².

Если «С. Петербургские ведомости» по отношению к революции заняли сразу же враждебную позицию, то в «Московских ведомостях» оценка событий была достаточно спокойной, во всяком случае не враждебной³. А в Месяцеслове Академии наук на 1790 г. о знаменитом ночном заседании 4 августа 1789 г. говорится следующее: «Народное собрание в Версалии имело достопамятное заседание, в котором

¹ Записки Сергея Николаевича Глинки, стр. 76, 115.

² См. В. И. Семевский, указ. статья. «Былое», 1906, № 1, стр. 19.

³ См. А. Брикнер. «С. Петербургские ведомости» во зремя Французской революции. «Древняя и новая Россия», 1876, № 1, стр. 71—87, № 2, стр. 158—173; А. Кирпичников. «Московские ведомости» в 1789 г. и начало Французской революции («Очерки по истории новой русской литературы», т. I, изд. 2-е, М. 1903, стр. 29—39).

дворянство, духовенство, гражданство и все прочие состояния отреклись от прежних своих привилегий; сверх сего вовсе уничтожены рабство, неравенство податей, тяжёлые пошлыны и другие права, коими меньшая, но сильнейшая часть народа насчет большей, но убогой части пользовалась. Обнаружившиеся сначала в Париже беспокойствия распространились по всему государству. Во всех городах Франции вооружился народ и чинил многие насилия»¹.

Все эти свидетельства о сочувственном или терпимом отношении к Французской революции еще не говорят о республиканских настроениях даже среди тех, кто отнесся к революции восторженно. Приведенные документальные показания относятся большей частью к тому периоду, когда Франция была еще монархическим го-

¹ Цитирую по статье А. Я. Кучерова «Французская революция и русская литература XVIII в.». Сб. «XVIII век» под редакцией акад. А. С. Орлова. Изд. Ак. Наук СССР, 1935, стр. 284. О первых откликах русского общества на Французскую революцию см. E. Naumant. La culture française en Russie (1700—1900), Paris, 1910, стр. 171—183, и В. Н. Бочкарев. Русское общество Екатерининской эпохи и Французская революция. «Отечественная война и русское общество», М. 1912, т. 1, стр. 44—63.

сударством. В ограничении у нас монархической системы заинтересованы были определенные дворянские круги, стоявшие в оппозиции к российскому самодержавному режиму. Но и они остывали к революции по мере ее дальнейшего роста, когда вполне определился буржуазный ее характер. Казнь Людовика XVI, практика Конвента, деятельность Марата, Дантона, Робеспьера вызвали отрицательную реакцию даже у тех, кто на первых порах приветствовал революционный взрыв. Третье сословие у нас в конце XVIII в. не было еще настолько значительной социальной и политической силой, чтобы энергично заявить свое отношение к развитию революционных событий во Франции. Зато власти предрешающие, и в первую очередь Екатерина, естественно, стали во враждебное отношение к революции с первых же ее шагов и начали подвергать гонениям и преследованиям все то, что так или иначе представлялось связанным с духом опасной вольности. Уничтожение книги Радищева и ссылка в Сибирь самого Радищева, гонение на московских масонов и заточение в Шлиссельбургскую крепость Новикова, сожжение княжнинского «Вадима», закрытие частных типографий, строгая цензура на выходящие книги и запрет ввоза в Рос-

сию иностранных книг — таковы были наиболее бросающиеся в глаза репрессии екатерининского правительства. При Павле цензурный гнет достиг своего апогея. Свободно высказываться нельзя было даже в частной переписке, потому что она подвергалась систематической перлюстрации.

Насколько перспектива такой перлюстрации играла роль в частной переписке лиц, заподозренных в политической неблагонадежности, лучше всего явствует из переписки московских масонов, подчеркнута заявляющих чуть ли не в каждом письме свою безусловную преданность верховной власти и свое сугубо отрицательное отношение к Французской революции и ее деятелям. Так, А. М. Кутузов в ноябре 1790 г. писал И. В. Лопухину: «Ежели бы знали истинные наши расположения, перестали бы нас гнать и нашли бы нас послушнейшими и вернейшими гражданами, нежели те, которые противу нас наущают.. Смело можно сказать, что из среды нас не выдет никогда Мирабо и ему подобные чудовища. Христианин и возмутитель против власти, от бога установленная, есть совершенное противоречие»¹. Тогда же прибли-

¹ Я. Л. Барсков. Переписка московских масонов XVIII в. Пгр. 1915, стр. 32—33.

зительно И. В. Лопухин писал А. М. Кутузову: «Я слышу очень мартинистом (хотя не знаю, ни ведаю, что есть мартинистство)... охотно соглашусь не иметь ни одного крепостного; но притом молю и желаю, чтоб никогда в отечество наше не проник тот дух ложного свободолюбия, который сокрушает многие в Европе страны и который, по мнению моему, везде губителен»¹. В письме Н. Н. Трубецкого к А. М. Кутузову от апреля 1791 г. читаем. «Просвети, господи, чело-веков и даждь им увидеть, что не христиа-не, но так называемые мирские умницы, покрывающие себя почтенным именем философии... опасны для общества, но что христианин есть верный подданный и за-щитник престола и законов и что он ни-коли не будет Мирабо и никогда не согла-сится с нынешними просветителями Фран-ции, но всегда рад пролить свою кровь за защиту государя...»².

В том же духе и с явным расчетом на политическую реабилитацию себя написаны в 1790-х годах брошюры масонов И. В. Ло-пухина «Изображение мечты равенства и буйной свободы с пагубными их плодами» и «Благость и преимущества единонача-

¹ Там же, стр. 24.

² Там же, стр. 111.

ния» и И. П. Тургенева «Кто может быть добрым гражданином и подданным вер-ным?».

Очень любопытно, однако, сопоставить инвективы московских масонов против философов-просветителей как вдохновите-лей революции, находившие место в их писаниях, рассчитанных на любознатель-ность Екатерины и ее правительственных сотрудников, с тем, что те же масоны пи-сали в сочинениях, не подлежавших огла-шению и не доводившихся до сведения официальных сфер. Так, И. В. Лопухин в своих «Записках» следующим образом определял связь между философией и ре-волюцией: «Впрочем главною причиною революции ставить самую оную филосо-фию и общества похоже, мне кажется, на-то, как иногда больные, изнузив себя и все свои соки, испортив невоздержан-ностью и неосторожностью, не желая при-знаваться в прямых причинах своих болез-ней, стараются их приписывать каким-ни-будь неважным посторонним случаям, в коих они невинны и которые бы для них совсем нечувствительны были, если бы рас-слабленное тело их не было уже готово разрушиться. Злоупотребление власти, не-насытность страстей в управляющих, пре-зрение к человечеству, угнетение народа.

безверие и развратность нравов — вот прямые и одни источники революции!»¹.

В этих словах Лопухина, если исключить указание на «безверие» как на одну из причин, породивших революцию, мы находим в общем здравые мысли о том, что являлось источником недовольств обездоленных слоев французского общества, приведших к революции.

Вполне естественно, что в обстановке екатерининского политического режима 1790 гг. высказываться свободно о Французской революции было невозможно. Но дворянство, напуганное еще событиями пугачевского восстания, по мере того, как буржуазный характер революции все более определялся, в своем огромном большинстве не имело никаких оснований сочувствовать нарастанию революционной стихии, а те, кто был на подозрении у власти, как, например, масоны и бывшие вольнодумцы, спешили заявить о своем враждебном отношении к революции.

В какой мере наиболее дальновидные представители дворянства отдавали себе отчет в грозном для них смысле событий революции и их значении для имущих

¹ И. В. Лопухин. Записки. «Русский архив», 1884, № 1, стр. 22.

слоев не только Франции, явствует из письма русского посла в Лондоне Семена Воронцова к его брату Александру от 2 сентября 1792 г.: «Я тебе говорил, что борьба — не на живот, а на смерть между имущими классами и теми, кто ничего не имеет. И так как первых гораздо меньше, то, в конце концов, они должны быть побеждены. Зараза будет повсеместной. Наша отдаленность нас предохранит на некоторое время: мы будем последние, — но и мы будем жертвами этой эпидемии. Ты и я, мы ее не увидим, но мой сын увидит. Я решил научить его какому-нибудь ремеслу, слесарному что ли или столярному. Когда его вассалы ему скажут, что он им больше не нужен и что они хотят поделить между собой его земли, — пусть он, по крайней мере, будет в состоянии зарабатывать хлеб собственным трудом и иметь честь сделаться членом будущего муниципалитета в Пензе или в Дмитрове. Эти ремесла ему больше пригодятся, чем греческий, латинский и математика»¹.

Не было никаких оснований приветствовать революцию и у представителей духовенства, поскольку церковь очень мало вы-

¹ Архив кн. Воронцова, т. IX, Спб. 1876, стр. 267—268 (перевод с франц.).

игривала от распространения в России революционной идеологии.

Всем этим объясняется появление у нас в 1790 гг. переводных и оригинальных, часто безыменных, памфлетов на революцию. Это прежде всего сочинения, большей частью переводные, направленные против Вольтера, Руссо и энциклопедитов вообще, в той мере, в какой все они почитались идейными вдохновителями революции (таковы: «Обнаженный Вольтер», «Изобличенный Вольтер», «Вольтеровы заблуждения, обнаруженные аббатом Нотом», «Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света» (книжка направлена преимущественно против Руссо) и др.) Частично такие книги появились у нас в переводах еще до революции. Нужно думать, что реакцией на подобного рода литературу были следующие протестующие слова Г. С. Винского: «Повторю паки: сколько бы старообрядцы, и новообрядцы, и все их отголоски не вопияли: «Распинайте французов!» Но Вольтеры — не Мараты Ж. Ж. Руссо — не Кугоны, Бюффоны — не Робеспьеры. Ежели когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы XVIII столетия, истинные благодетели рода чело-

веческого, получают всю им принадлежащую честь и признательность»¹.

Ненавистью к Французской революции и ее деятелям проникнуты сочинения большей частью неведомых или третьестепенных авторов, не оставивших по себе в литературе никакого следа. Таковы два стихотворения, приписываемые Е. Д. Дашковой² — «Мнение некоего россиянина о единначалии» и «Правило россиянина» (1792—1793 гг.), таковы вышедшие в 1793 и 1795 гг., написанные стихами «Дифирамб, изображение ужасных деяний французской необузданности, или плачевная кончина царственного мученика Людовика XVI» и «Изображение ужасных деяний французской необузданности», принадлежащие виршеписцу XVIII в. П. Икосову; таковы, наконец, вирши А. Волкова «Дух гражданина и верного подданного, в стихотворстве никогда не упражнявшегося, на старости злодеяниями французских бунтовщиков возмятенного» (1794 г.) и «Разговор Лудвига XVI с французами в

¹ «Мое время». Записки Г. С. Винского. Ред. и вступительная статья П. Е. Щеголева, изд. «Огни», Спб., стр. 16—17.

² См. В. П. Семенников. Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. Пгр. 1915, стр. 37—39.

царстве мертвых» (1796 г.). О качестве этих стихотворных упражнений можно судить хотя бы по следующей выдержке из «Духа гражданина и верного подданного»:

Вертеп и нырщице убийцам,
Гнездо гнуснейшим кровопийцам,
Толь хищным, алчным, ненасытным
Желаньям мерзким, несобытным,
Столица их и главный град!
Гоморры точность и Содома,
Сквернейша отрасль от Едома,
Пороки все плодящий сад!
Откуда зло течет реками
И крови пролитой струями

и т. д.

Подстать ей и цитата из «Разговора Лудвига XVI с французами в царстве мертвых»:

Здесь дерзки хищники короны,
Что осквернили алтари
И, пагубны вводя законы,
Возжгли убийственные при¹.

Достаточно однообразны все сплошь отрицательные отзывы о Французской революции таких писателей, как Державин

¹ Подробнее о такого рода переводных и оригинальных памфлетах против Французской революции см. С. Бородин. Галлофобия в нашей литературе прошлого века. «Наблюдатель», 1887, № 11, стр. 303—316, и А. Я. Кучеров, указ. статья, Сб. «XVIII век», стр. 266—76.

«Колесница», «В честь князя Пожарского», «На панихиду Людовика XVI»), Вас. Петров («На взятие Варшавы», «Путешествие его императорского высочества Константина Павловича»), И. М. Долгорукий («1790 год»), Озеров («На смерть Екатерины II», «На вожделеннейшее восшествие императора Александра I на престол всероссийский»), Жуковский («Добродетель», «Могущество, слава и благоденствие России»). Трудно было ожидать сочувствия Французской революции и от Фонвизина, автора писем из Франции к Панину и к сестре. Прямой отклик на нее у Фонвизина мы находим в комедии «Выбор губернатора», в 5-м явлении III действия. Осуждение революции там вложено в уста главным образом Нельстецова, возражающего против «равенства состояний». Естественно, что и масон Херасков, автор «Кадма и Гармонии», не мог примириться с Французской революцией. Он враждебно отзывался на нее в романе «Полидор, сын Кадма и Гармонии» и в поэме «Царь, или спасенный Новгород», в предисловии к которой Херасков прямо указывает на то, что «черты страшного мятежничества», происходившего в Новгороде и описанного в поэме, он перенес в поэму «из пагубного переворота беснующейся Франции».

Для нас особый интерес представляет отношение к Французской революции Карамзина, который был непосредственным очевидцем событий. Отправляясь в 1789 г. в путешествие по Европе, Карамзин был во власти абстрактных республиканских настроений, которые воспитывались чтением Руссо и Плутарха. Говоря с возмущением о том, что позднее, при Павле, Карамзина обвиняли в якобинстве, Вигель пишет: «Конечно, как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствование рода человеческого. Когда началось его воспитание, в России, по примеру других европейских, даже самых деспотических государств, наставники воспитанникам все указывали на блеск греческих республик, на величие римской, твердили, что с свободой их были неразлучны добродетели, счастье и слава и что с ее утратою они всего лишились; в веках ближе к нашему старались они возбуждать их восторг к Швейцарии, к Вильгельму Теллю, к Нидерландам и Эгмонту, наконец, Северная Америка с своим Вашингтоном и Франклином должна была осуществить для них прекрасные мечты их отрочества. С таки-

ми поучениями, с чистой и пылкой душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий благополучнейших последствий от едва начавшейся Французской революции. Возвратившись, некоторое время не скрывал он своих благородных заблуждений, пока вид Польши, погибшей от и среди безначалия, и Франции, политой кровью, не разочаровал его. Чад его давно прошел, но незабываемый врагами послужил к его обвинению»¹.

Республиканские настроения Карамзина еще сильнее подчеркивает Николай Тургенев, ошибочно приурочивая пребывание Карамзина во Франции к эпохе террора. «В молодости Карамзин, — пишет он, — видел Европу, он прибыл во Францию в эпоху террора. Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, состав-

¹ Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть третья. стр. 133—134.

лявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни той эпохи»¹.

Однако, как и следовало ожидать, Карамзин, очутившись лицом к лицу с событиями революции, не сумел их ни глубоко понять, ни по-настоящему прочувствовать. Мечтательный сентименталист, он мог лишь отвлеченно сочувствовать идее революции, но не способен был хотя бы осмыслить все ее историческое величие. Карамзин сам подтверждает характеристику, данную ему Вигелем и Н. Тургеневым. Так, в «Послании к Дмитриеву» (1794 г.) он говорит о себе:

И я, о друг мой, наслаждаюсь
Своюю красною весной,
И я мечтами обобщался —
Любил с горячностью людей,
Как нежных братьев и друзей,
Желал добра им всей душою,
Готов был кровию моею
Пожертвовать для счастья их.
Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет,
Красы волшебства исчезают...
Теперь мной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном

¹ Николай Тургенев. Россия и русские, т. I. Воспоминания изгнанника. Перевод с французского, М. 1915, стр. 342.

Сердце жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно.
А люди будут — люди вечно.

Но что же остается делать тем, кто сознает, что в мире царит зло и не в силах со злом бороться?

Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и Рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впрямь творят что им угодно!

Непричастные злу и бессильные победить его должны построить себе «тихий кров», куда «злые и невежды» не нашли бы себе во век дороги и где бы терпеливо можно было

Взирать, на тучи, вихрь сует,
От грома, бурн укрываясь —
И в чистом сердце наслаждаюсь
Мерцанием вечерних лет...
Пусть громы небо потрясают,
Злоден слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой:
Мой друг! не мы тому виной!

Как бы комментарием к этому стихотворению является его письмо от 17 августа того же года к тому же И. И. Дмитриеву: «Я живу, любезный друг, в деревне с людьми живыми, с книгами и природой, но часто бываю очень, очень беспокоен в

¹ Сочинения Карамзина, т. I, под ред. В. В. Синовского, Пгр. 1915, стр. 96—97.

моем сердце. Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов, но мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кихотом, но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею так страстно, как я люблю человечество»¹.

В прозаическом послании «Мелодор к Филалету», написанном также в 1794 г., Мелодор жалуется своему другу на то, что события Французской революции подорвали в нем былую веру в постепенное движение человечества к духовному совершенству. Теперь ему всемирная история представляется вечным движением в одном кругу, с вечным повторением, вечной сменой дня и ночи, истин и заблуждений, добродетелей и пороков. В этом роковом круговороте для человечества — «капля радостных и море горестных слез». Вместе с Филалетом он славил преимущества XVIII столетия; но расцвет философии, смягчение нравов, рост духа обществственности и другие блага, которые это столетие принесло с собой, не способны были рассеять некоторые черные облака.

¹ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб. 1866, стр. 427.

Появляющиеся на человеческом горизонте. Конец века друзья считали концом важнейших бедствий человечества. Но вот восьмойнадесятый век кончается: что же видишь ты на сцене мира? — спрашивает Мелодор. — Осьмойнадесятый кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!... Век просвещения! я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!... Небесная красота прельщала взор мой, воспаляла мое сердце нежнейшей любовью; в сладком упоении стремится к ней дух мой! Но небесная красота исчезла — змеи шипят на ее месте! — Какое превращение!»¹.

В стихотворении «К Добродетели» (1802 г.) читаем:

Когда мир целый трепетал²,
Волнуемый страстями злыми,
Мой взор знамен твоих искал
Я сердцем следовал за ними!
Творил обеты... слезы лил
От радости и скорби тайной...
Кто в век чудесный, чрезвычайный

¹ Сочинения Карамзина, т. III, изд. А. Смирдина, Спб. 1848, стр. 138—430.

² Во время Революции (прим. Карамзина).

Призраком не обманут был?¹
Когда ж людей невинных кровью
Земля дымиться начала,
Мне свет казался адом зла...
Свободу я считал любовью...¹.

Но наиболее ранние, непосредственные, а также наиболее конкретные отклики Карамзина на события Французской революции мы находим в его «Письмах русского путешественника». Известно, что «Письма» печатались сначала в «Московском журнале» за 1791—1792 гг., а затем в альманахе «Аглая» (1794—1795 гг.). В 1797 г. «Письма» появились отдельным изданием в четырех частях. Текст, напечатанный в «Московском журнале», заканчивается письмом от 27 марта 1790 г., в котором идет речь о выезде Карамзина в Париж. В тексте, напечатанном в «Аглае», дано сравнительно небольшое количество писем, попеременно сообщающих о впечатлениях от Англии и Франции (преимущественно Парижа). В отдельном издании 1797 г. весь материал хронологически упорядочен, и описание путешествия здесь оканчивается рассказом о посещении Карамзиным церкви, где он видел королевскую семью. Во всем, что было напеча-

¹ Сочинения Карамзина, под ред. В. В. Силовского, т. I, стр. 292.

то из «Писем» вплоть до 1797 г., прямыми откликами Карамзина на Французскую революцию являются описание волнений в провинции, грустные размышления о том, что теперь блеск Парижа потускнел, и сочувственная характеристика королевской семьи.

Уже в Эльзасе в августе 1789 г. Карамзин наблюдает волнение, охватившее жителей: деревни вооружаются, крестьяне пришивают к шляпам кокарды, и о революции говорят все — даже «бабы». В Страсбурге отмечается волнение тамошнего гарнизона, полный разгул солдат, их неповиновение офицерам, разграбление монастырей¹. В Базеле Карамзин встречается с семейством французских аристократов, покинувших свои пылающие замки и спасающихся от взбунтовавшихся крестьян, хотевших убить своих господ². В марте 1790 г. в Лионе он является свидетелем уличной сцены, во время которой из-за пустой ссоры собравшиеся прохожие стали требовать повесить виновного. Народ во Франции, по словам Карамзина, стал «страшнейшим деспотом». «Те, которые

¹ Сочинения Карамзина, т. II, изд. Смирдина, стр. 184—185.

² Там же, стр. 197—198.

наиболее шумели и возбуждали других к мятежу, — говорит Карамзин, — были нищие и празднoлюбцы, не хотящие работать с эпохи так называемой французской свободы»¹.

Вскоре же после приезда в Париж, в апреле 1790 г., Карамзин с нескрываемой грустью пишет о том, что город теперь не похож на то, чем он был прежде. «Грозная туча носится под его башнями и помрачает блеск сего, некогда пышного города. Златая роскошь, которая прежде царствовала в нем как в своей любезной столице.. поднялась на воздух и скрылась за облаками, остался один бледный луч ее сияния, который едва сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей...»². Вскоре Карамзин в придворной церкви видел короля и королеву, о которых он говорит с большой симпатией и сочувствием. Он убежден в том, что «правосудная история впишет Людовика XVI в число благодетельных царей, и друг человечества прольет в память его слезу сердечную»³.

¹ Там же, стр. 427—428.

² Сочинения Карамзина, т II, стр 455—456.

³ Там же, стр. 458.

Письмо заканчивается фразой «Народ любит еще кровь царскую!»¹.

Симпатию Карамзина к революции во всех этих откликах трудно усмотреть. Очень показательно, что в отдельном издании «Писем» 1792 г Карамзин, как это уже было указано В. В. Сиповским², подчеркивает свое нерасположение к революции усилением отрицательного смысла отдельных выражений. Так, вместо слов в тексте 1792 г. «бунтовал тамошний народ» в тексте 1797 г читаем «бунтовала тамошняя чернь», вместо «заглушить уличный шум» — «заглушить шум пьяных бунтовщиков», вместо «труп несчастного дю-Фулона, влекомый на улице бешеным народом» — «труп несчастного дю-Фулона, терзаемый на улице бешеным народом».

Окончание печатания «Писем русского путешественника» относится к 1801 г., когда были выпущены в свет пятый и шестой их томы. Пятый том открывается письмом из Парижа от апреля 1790 г., начинающимся словами «Говорить ли о французской революции? Вы читаете газеты: следовательно происшествия вам изве-

¹ Там же, стр. 460.

² В. В. Сиповский. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», Спб. 1899, стр. 165.

сты. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных-французов, которые славились своею любезностью и пели с восторгом от Кале до Марсея, от Перпиньяна до Страсбурга:

Pour un peuple aimable et sensible
Le premier bien est un bon roi...

Но Карамзин утверждает, что «в трагедии, которая играетя ныне во Франции» участвует едва ли сотая часть французов остальные ведут себя как зрители в театре смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают. Одни, которым нечего терять, дерзки, как хищные волки; другие, которые могут лишиться всего, робки, как зайцы. У всех с 14 июля не сходят, то в смысле брани, то в смысле похвалы, клики аристократ и демократ, причем употребляющие эти клички не понимают их смысла.

Предаваясь размышлениям о революции, Карамзин приходит к неутешительным выводам: «Народ есть острое железо которым играть опасно, а революция — отверзый гроб для добродетели и — самого злодейства». Для Карамзина всякое веками утвержденное общество — святыня, в которой проявляется предустановленная гармония. Изменение государственного строя может быть результатом лишь «мед-

ленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов... Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот». Карамзин призывает новых республиканцев «с порочными сердцами» развернуть Плутарха, и они услышат от «древнего величайшего, добродетельного республиканца» Катона, что «безначалие хуже всякой власти». В заключение письма приводится несколько стихов Рабле, в которых Карамзин видит мрачное пророчество о событиях Французской революции¹.

Карамзин дважды побывал на заседаниях Национального собрания, и во второй раз он высидел в зале пять или шесть часов, присутствуя на одном из самых бурных заседаний, когда депутаты духовенства настаивали на том, чтобы католическая религия была признана во Франции единственной или главной. Противником этого предложения выступил Мирабо, говоривший, по словам Карамзина, с жаром. Но Карамзин, видимо, мало интересовался историческим смыслом событий, который можно было вскрыть за этими спорами, и отметил лишь непристойность в поведении

¹ Сочинения Карамзина т II, стр. 460—465.

депутатов и отсутствие в заседаниях каких бы то ни было торжественности и величия. Он обратил внимание на то, что «многие ораторы говорят красноречиво» и что «Мирабо и Мори вечно единоборствуют как Ахиллес и Гектор»¹. В следующем письме, говоря о характере французов Карамзин подчеркивает их чрезмерную чувствительность, страстное искание истины, равнодушие к славе и к великим предприятиям. Он опасается, что свойства французам вспышки жара иступления, ненависти могут привести к страшным последствиям, чему примером является революция. «Жаль, — пишет он, — если эта ужасная политическая перемена должна переменить и характер народа, столь веселого, остроумного, любезного»².

Последние строки хорошо объясняют нам то настроение, которое испытывал чувствительный сентименталист Карамзин расставаясь с Парижем после почти четырехлетнего пребывания в нем. «Я оставил тебя, любезный Париж, — писал он, — оставил с сожалением и благодарностью. Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин

слепенной, смотрел на твоё волнение с тихой думою, как мирный пастырь смотрит на горы и бурное море. Ни якобинцы, ни аристократы твои не сделали мне ничего зла; я слышал споры, и не спорил, ходил в великолепные храмы твои наслаждаясь глазами и слухом, там, где светлый бог искусств сияет в лучах ума и талантов; там, где гений славы величественно покоится на лаврах!»¹.

В свое время В. В. Сиповский обратил внимание на то, что появление пятого тома «Писем», в котором идет речь о Франции, отдалено от четвертого, где описываются только первые впечатления от Парижа, целыми четырьмя годами. Он высказывает при этом правдоподобную догадку, что причиной задержки в выходе пятого тома была невозможность для Карамзина при существовавшем цензурном режиме высказаться о Французской революции с полной откровенностью. Быть может, он испытывал по отношению к ней известные колебания, усматривая в ней не только отрицательные стороны. Публикуя же в 1801 г. продолжение своих «Писем», Карамзин, с одной стороны, успел изме-

¹ Сочинения Карамзина т. II, стр. 643—644.

² Там же, стр. 647.

¹ Сочинения Карамзина, т. II, стр. 648.

нить свое отношение к революции, окончательно став к ней во враждебное отношение, с другой — не считал нужным уделять ей много внимания, поскольку события ее уже перестали быть злободневными¹.

Что Карамзин способен был глубже и серьезнее смотреть на революцию и ее значение для всего человечества, явствует из его французской статьи, напечатанной в 1797 г. в гамбургском журнале «Spectateur du Nord» и озаглавленной «Un mot sur la littérature russe». Говоря в ней о содержании своих «Писем», он пишет: «Наконец автор переходит к революции. Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы человечества на долгие века. Начинается новая эпоха. Я ее вижу, но Руссо предвидел ее. Я слышу напыщенные речи за и против, но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Признаюсь, что мои взгляды на этот счет не достаточно определились. События следуют друг за другом, как волны бушующего моря, и уже хотят думать, что революция кончилась. Нет! Нет! Еще увидят много паразитель-

ных вещей, крайнее возбуждение умов тому порукой. Я опускаю занавес»¹.

В 1802 г. Карамзин становится во главе нового политического и литературного журнала — «Вестник Европы». В нем появляется ряд статей о Французской революции и, между прочим, в первом же номере переводная «История Французской революции, избранная из латинских писателей», в которой отрывками и фразами, взятыми у Тита Ливия, Патеркула и других латинских историков, описывались в очень непривлекательном виде события революции. В № 3 журнала Карамзин помещает собственную статью «Приятные виды, надежды и желанья нынешнего времени»², в которой противопоставляет неурядицам и анархии революции процветание монархических государств, в частности, и больше всего, России. «Есть ли бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут казаться благодетельными, — говорит он, — то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинскою силою, но и внутренним

¹ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 480.

² См. Сочинения Карамзина т. III, стр. 585—598.

¹ См. В. В. Сиповский, указ. соч., стр. 160—161.

убеждением разума». Очень характерно, однако, что Карамзин не отрицает безоговорочно положительного значения Французской революции для судеб Европы. Он пишет: «Революция была злословием свободы. Правительства, не хвалясь именем, дозволяют гражданам пользоваться всеми ее выгодами, согласными с основанием и порядком общества».

Таким образом при все усиливавшемся своем поправении Карамзин во всех своих отзывах о Французской революции никогда не доходил до того ее третирования, которое мы находим у большинства его литературных современников, чьи высказывания о ней дошли до нас.

Наиболее горячего отклика на Французскую революцию естественно нам ждать от Радищева. Всем складом своих политических убеждений он как никто подготовлен был к положительному восприятию революции. В оде «Вольность» он приветствовал за шесть лет до того восторжествовавшую Американскую революцию. «Путешествие из Петербурга в Москву» проникнуто подлинным революционным пафосом. Поэтому как будто неожиданно звучит отклик Радищева на первые же события Французской революции, который мы читаем в главе «Путешествия», озаг-

давленной «Торжок» и представляющей собой страстный протест против цензурных стеснений. Радищев пишет: «Но дивись несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали — да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей».

Эти строки, как уже указывалось в литературе¹, вставлены были Радищевым в «Путешествие» после того, как книга прошла цензуру. Нет никакой возможности допустить принципиально отрицательное отношение Радищева к самому факту Французской революции. Такое допущение

¹ См. В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования. М.-Пгг. 1923, стр. 44.

никак не согласовалось бы со всем тем, что мы знаем о Радищеве как о революционном политическом мыслителе. Показательно, что в главе о Ломоносове Радищев с восторгом говорит о Мирабо как о величайшем ораторе, о Мирабо, которого Екатерина считала «не единой, но многих висельниц достоинным».

Поэтому очень убедительными представляются соображения А. И. Старцева о том, что гневные строки Радищева о цензурных стеснениях вызваны были тем, что, побуждаемое своими умеренными лидерами, Национальное собрание подвергло преследованию Марата за напечатанный им в его тайной типографии памфлет, направленный против министра финансов Неккера. В январе 1890 г. Лафайет с крупным отрядом национальной гвардии окружил дом Марата с намерением арестовать его. Марату удалось скрыться, но типография его была разгромлена. Обо всем этом вскоре сообщено было в «С Петербургских ведомостях», откуда Радищев, видимо, и почерпнул сведения о деле Марата¹.

¹ А. И. Старцев. О западных связях Радищева «Интернациональная литература», 1940 № 7—8, стр. 263—265. Насколько в суждениях Радищева о Французской революции на первых

Во всем том, что Радищев писал в ссылке и после ссылки, мы не найдем ни чего такого, что походило бы на отказ его от прежних убеждений. События 1790 г. во Франции были как бы проверкой тех взглядов и положений, какие Радищев высказал¹ в своем «Путешествии», и он этой проверки не убоился. Он с полным правом мог ответить, при проезде через Тобольск, «любопытствующему узнать о нем»

Ты хочешь знать кто я? что я? куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век
Не скот, не дерево, не раб но человек!

Написанная Радищевым незадолго до смерти «Песнь историческая» насквозь проникнута тираноборческим пафосом. По своему радикализму она не уступает «Путешествию». В ней он, правда, не доб

же ее этапач казалась его недостаточная осведомленность о самом существе события, явствует из примечания, которое он сделал к своей статье «Письмо к другу, жителствующему в Тобольске». Статья эта, начатая еще в 1782 г. и написанная в связи с постановкой памятника Петру в Петербурге, заканчивалась словами «Нет и до окончания мира примера, может быть, не будет чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сядя на престоле». Печатая статью в начале 1790 г., Радищев в сноске сделал к этим словам такое примечание «Если бы сие было написано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли»

ром поминает Робеспьера, уподобляя ему кровожадного Суллу, но делает это потому, что, живя духом и идеями Французской революции, он тем не менее отрицательно относился к террору, которым она сопровождалась.

Приблизительно одновременно с «Исторической песнью» Радищев написал свою оду «Осьмнадцатое столетие». Порицая протекший век за то, что он сокрушил «корабль, надежды несущий» и близкий уже к пристани, за то, что он обогрился кровью и дал «комуто ярому» пожрать «счастье, и добродетель, и вольность», Радищев сознает в то же время все его величие и все значение для последующей истории человечества:

Нет, ты не будешь забвенно столетье безумно
и мудро!
Будешь проклято во век, в век удивлением всех..
О незабвенно столетие! радостным смертным да-
руешь

Истину, вольность и свет, ясно созвездье во век!..
Все, что созидает смертный, все рушится,
все превращается в прах, но восемнадца-
тое столетие «творец было мысли», а со-
здания мысли бессмертны.

Радищев славит ушедший век за то, что он мужественно сокрушил «железные двери призраков» и разорвал узы, отягчавшие наш дух, который теперь крыла-

той молнией устремился «к истинам но-
вым».

Мощно, велико ты было, столетье! дух веков
прежних.
Пал пред твоим алтарем ниц и безмолвен, дивись

— восклицает Радищев. Правда, восемнад-
цатому столетию «сил не достало к изгна-
нию всех духов ада», человек и теперь
«претворен в люта тигра еще», но это не
вешает Радищеву признать все величие
столетия, открывшего человечеству новые
пути развития. Признание мощи того сто-
летия, которое всем своим историческим
ишествием привело к самому мощному из
всех до сих пор бывших революционных
взрывов, было вместе с тем обнаружением
положительного отношения к самому фак-
ту Французской революции, и едва ли
Екатерина по существу далека была от
истины, когда, ознакомившись с «Путе-
ишествием» Радищева, заключила, что
«Французская революция его решила себе
определить в России первым подвизате-
лем».

С политической позицией Радищева во
многом сходна была позиция молодого
Крылова и его сотрудника по журналам
«Зритель» и «С. Петербургский Мерку-

рий» — Клушина. Оба они, нужно думать, испытали и непосредственное влияние со стороны Радищева. «Почта духов» Крылова, выходящая с начала 1789 г., была проникнута идеями предреволюционной французской литературы, преимущественно руссоистской. Крылов выступал в своем журнале с суровой и язвительной критикой общественного и социального строя современной ему России. В «Зрителе», выходящем в разгар революции, в 1792 г., социальная и политическая острота не была снижена по сравнению с «Почтой духов» — явное доказательство того, что под влиянием Французской революции ни Крылов, ни его ближайший сотрудник Клушин не отказались от своих радикальных политических воззрений. Пожалуй, эти воззрения обоих писателей в «Зрителе» сказались еще более определенно. По приказанию Екатерины, летом 1792 г. в заведенной в 1791 г. типографии «Крылова с товарищи» был произведен обыск, не давший, однако, желательных для властей результатов. При обыске интересовались, между прочим, поэмой Клушина «Горлицы», которую Клушин незадолго до обыска уничтожил и содержание которой он изложил по требованию полиции на бумаге. Изложение вышло довольно туман-

ным¹, но и из него можно усмотреть, что Клушин, изображая в своей поэме воронов, злоумышляющих против горлиц, намекал на подготовлявшуюся против революционной Франции коалицию европейских государств во главе с Австрией и Россией и таким образом выразил сочувственное отношение к Французской революции.

В павловское время цензурный гнет заметно усилился даже по сравнению с последними годами екатерининского царствования. Книги подвергались преследованию даже только за то, что в них встречались «разные нынешних времен о вольности и политике рассуждения». Запрещалось хвалить «просвещение века», нельзя было недостаточно энергично нападать на революцию. Так, например, одно сочинение, направленное против революции, было задержано за то, что автор «слабыми доводами больше вредит»².

¹ Оно приведено в статье Н. В. Рождественского «И. А. Крылов и его товарищи по типографии и журналу в 1792 г.». Сборник Моск. Главн. архива мин. иностр. дел, вып. 6-й, М. 1899, стр. 350—352.

² В. В. Сиповский Из прошлого русской цензуры «Русская старина», 1899, № 5, стр. 448.

Понятно, что в такой обстановке ни прямое, ни хотя бы косвенное выражение не только симпатий, но и терпимого отношения к Французской революции было невозможно. В первые годы царствования Александра I политическая атмосфера значительно разрядилась. Ученик Лагарпа еще в последний год царствования Екатерины, по свидетельству А. Чарторижского, признавался ему в том, что он «презирает деспотизм, чем бы он ни выражался; что он любит свободу, которой должны пользоваться все без исключения; что, горячо сочувствуя Французской революции, но порицая ее заблуждения, он радовался республике и желал ей успеха»¹. Само собой разумеется, что в устах будущего самодержца подобные заявления были не больше чем эпатажирующей бравадой и анемичной фрондой против Екатерины, с которой он сводил свои личные счеты. Но все же самая возможность таких заявлений довольно показательна.

Став российским императором, Александр I замыслил ряд либеральных реформ и этим оживил вольнолюбивые на-

¹ «Беседа и частная переписка между императором Александром I и кн. Адамом Чарторижским». М. 1912, стр. 13.

межды прогрессивных слоев русского общества. В том, что писалось у нас в первые десятилетия XIX в. и предназначалось для печати, мы, естественно, не встретим прямого выражения сочувствия Французской революции, но не может быть никакого сомнения, что передовая литература александровского времени, вплоть до восстания декабристов, жила теми возбуждениями, какие шли от Французской революции и от просветительной философии XVIII в., идейно подготовившей революцию. Уже один тот факт, что послегонения у нас на французских просветителей в 1790 г. они в начале XIX в. вновь усиленно переводятся на русский язык, что Вольтер и Руссо вновь вызывают открытое признание у русских читателей и писателей, — сам по себе показателен¹. Идеи гражданской вольности, народного блага, культ человека-гражданина, жертвующего всем во имя общей пользы, ненависть к угнетению и тирании, превознесение разума в его борьбе с предрассудками и ми-

¹ О переводах Вольтера, между прочим, в начале XIX в., см. в статье Д. Д. Языкова «Вольтер в русской литературе». «Под знаменем науки». Юбилейный сборник в честь Н. И. Сторожено, М. 1902, стр. 696—714.

стиклон — все это нашло себе самый живой отклик в русской литературе первых десятилетий XIX столетия. В связи с этим воскресают запрещенные в печати Павлом слова «общество», «гражданин», «отечество». Воскресает и тема свободолюбивого патриота, жертвующего жизнью за отечество, — тема, столь популярная в эпоху Французской революции. Уже в самом начале века возникает Вольное общество любителей словестности, наук и художеств (1801—1807), включившее в себя демократически настроенную, по преимуществу разнородную молодежь, воспитавшуюся на традициях Радищева. Попугаев, Борн, отчасти Пнин и ряд других поэтов, входивших в Вольное общество, в стихах и в прозе выказали себя приверженцами тех идей, какими по существу питалась Французская революция. Члены общества обязательно проявляют большой интерес к просветительской французской литературе, которая в глазах врагов революции была окончательно скомпрометирована. Высказываясь в «Опыте о просвещении» отрицательно о Французской революции эпохи Конвента и о революционной конституции 1793 г., сравнительно умеренный Пнин в то же время отваживается на то, что в издававшемся им в 1798 г., в пору цензурного

режима Павла I, «С. Петербургском журнале» печатает анонимно переводы трех глав «Системы природы» Гольбаха. Значительно более радикальный его собрат по Вольному обществу Борн в очерке «Ночь», обращаясь к недавнему бурному историческому прошлому, расценивает его значение для дальнейших судеб человечества очень положительно: «Друзья! Мы прожили великие годы, — пишет он, — мы в краткое время бытия нашего видели более, нежели что производили многие века, поглощенные в бездне минувшего. Мы видели ложное величие погранным; права неизменные и вечные опять восстановленными; мы познали, что истина и добродетель превыше всего. Зло превратилось в обильный источник благ. Мрак рассеялся, и ум разорвал оковы, в кои невежество, со всеми гнусными его исчадиями, заключали человечество... Семена посеяны — зреют — созрели, и жатва начинается».

Он же в переводной «Оде Калистрата», возможно, написанной в связи с убийством Павла I и посвященной Попугаеву (1802 г.), славит тираноборцев Гармония и Аристокитона:

Вечно пребудет на земле слава
Гармония и Аристокитона!

Тиран пал от руки вашей! вольность
Дана вами Афинам и правосудие!¹.

В 1801 г. Востоков пишет — также в связи с убийством Павла I — «Оду достойным». «Достойные» — это убийцы Павла, те, которые, «видев, как страждет отечество»,

...жертвуют жизнью, именем,
Чтобы избавить сограждан от бедствия
И доставить им участь счастливую².

В 1804 г. Попугаев печатает очерк «Негр», в котором с подлинной радищевской страстью и с негодованием клеймит европейцев за угнетение негров. Нужно думать, что здесь мы имеем дело с завуалированным протестом Попугаева против крепостного права, и под обездоленным негром нужно разуть русского крепостного крестьянина³.

Еще более страстный протест против грабительства «чернокожих» представляет собой стихотворение Гнедича «Перуанец к

¹ «Поэты-радищевцы». Редакция и комментарии Вл. Орлова. Вступительные статьи В. А. Десницкого и Вл. Орлова, Л. 1935, стр. 242.

² А. Х. Востоков. Стихотворения. Редакция, вступительная статья и примечания Вл. Орлова, Л. 1935, стр. 122.

³ См. указ. вступительную статью В. А. Десницкого к сб. «Поэты-радищевцы», стр. 53—58. Здесь же — и перепечатка очерка «Негр».

испанцу» (1805). В терминах революционной фразеологии, с позиций руссоистской доктрины Гнедич, близко стоявший к членам Вольного общества, устами поработанного испанцами перуанца вооружается против тирании сильных во имя торжества естественного права, во имя равенства и братства всех народов, независимо от их расовой принадлежности. В духе той же высокой гражданственности он пишет стихотворение «Общежитие», роман «Дон Коррадо де Герера» и переводит наиболее революционный вариант «республиканской» трагедии Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», получившей одобрение Конвента.

III

Вряд ли нужно много говорить о том, насколько сильно отразилась Французская революция в политическом мировоззрении декабристов и в частности в мировоззрении декабристов-поэтов.

Декабристы и Герцен, по определению Ленина, принадлежали к первому поколению русских революционеров — революционеров из дворян и помещиков. «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа, — писал Ленин. — Но их

дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена»¹.

В двадцатые годы в передовых кругах русского общества возбуждение, произведенное Французской революцией, было очень сильно. «Нынешний век, — писал Пестель, — ознаменовывается революционными мыслями. От одного края Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать»². Будущие декабристы зачитывались произведениями французской просветительной философии и материалистическими трактатами, выходящими во Франции³.

Прямого отклика на Французскую революцию, если не считать «Вечного жид» Кюхельбекера, мы в поэзии декабристов не найдем, но в том пафосе гражданственности, вольнолюбия и революционного пат-

¹ Ленин. Памяти Герцена. Соч., т. XV, стр. 468.

² Н. Павлов — Сильванский. Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом Ростов-на-Дону, 1907, стр. 30.

³ Его же. Материалисты двадцатых годов Соч., т. II, СПб 1910, стр. 239—288.

риотизма, какой отличает наиболее значительные произведения поэтов-декабристов, мы можем без труда усмотреть прямую связь с идеями Французской революции. Сама фразеология Рылеева, Одоевского, Бестужева-Марлинского еще более, чем фразеология поэтов Вольного общества, насыщена понятиями и терминами, подсказанными фразеологией племенных трибунов революции. «Гражданин», «отечество», «отчизна», «общественное благо», «народное благо», «доблесть гражданская», «гражданское мужество», «тиран», «самовластие», «вольность», «свобода» — все эти слова обычны в стихах декабристов, особенно у Рылеева. Образы великих патриотов древности и борцов за свободу — Брута и Катона, испанского революционера Риэго не раз приходят им на память. Героические страницы русской истории, особенно те, которые повествуют о борьбе за свободу и республику, привлекают и Рылеева, и Одоевского, и Раевского, и Бестужева-Марлинского. Борьба Новгорода и Пскова за независимость, образы Вадима и Марфы-посадницы выступают у поэтов-декабристов в героическом апофеозе.

Пестель на допросе признавался: «История великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыс-

лей»¹. Когда Пушкин в 1824 г. был сослан в Михайловское, близ Пскова, будущий декабрист С. Волконский писал ему: «Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий, а соотечественникам вашим труд ваш — памятником славы предков и современника»². В том же роде писал Пушкину Рылеев в январе 1825 г.: «Ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы»³. На тему о новгородской вольности, кроме поэтов-декабристов, писали Языков («Новгородская песнь 1170 г.», «А. С. Пушкину»), Веневитинов («Новгород») и др.

Рылеевский Вадим — не жалкий честолюбец, морально стоящий гораздо ниже своего соперника Рюрика, как он трактовался до Княжнина и как услужливо трактовали его приверженцы монархии в

¹ «Восстание декабристов». М.-Л., 1927, т. IV, стр. 91.

² Соч. Пушкина. Переписка, т. I, Спб. 1906, стр. 138.

³ К. Ф. Рылеев. Полное собр. соч. Ред., вступ. статья и комментарии А. Г. Цейтлина. «Academia», 1934, стр. 479.

конце XVIII и в начале XIX в., а подлинный радетель о благе отчизны, борец за народную свободу и народные права. Так же приблизительно — одновременно почти с Рылеевым — трактовали его и Кюхельбекер в своих парижских лекциях и Пушкин.

Непосредственный отклик на Французскую революцию у поэтов-декабристов, как сказано выше, мы находим только в поэме Кюхельбекера «Вечный жид», написанной в ссылке, в Сибири, незадолго до смерти, в 1842 г. Эта поэма относится к тому времени, когда Кюхельбекер целиком был во власти своих религиозно-мистических настроений. Она глубоко пессимистична, и ее философская концепция очень неутешительна. Былая вера в прогресс потерпела у Кюхельбекера крушение. Смысл поэмы в том, что человеческая жизнь — сплошное страдание и сплошная нелепость. Добровольная смерть Христа для судеб человечества оказалась бесполезной.

В VI главе поэмы странствующий по свету Агасфер попадает во Францию в пору Конвента, и Кюхельбекер заставляет его очень сурово расценивать то, что он видит вокруг себя. Впрочем, для Агасфера ясна историческая неизбежность революции

и всех ее последствий. Революция явилась результатом прежде всего глубокого морального упадка Франции, легкомыслия верхов французского общества, засилья богатых и сильных над бедными и слабыми:

За всякий же предел
Беды те перешли: придавлен тяжкой дланью
Откупщика к земле, обремененный данью
Правительству, дворянству, алтарю,
Крестьянин ванною в трудах встречал зарю
И отдыха не знал до самой поздней ночи,
А дома — дети, голод, плач и стон!
Когда ему терпеть не станет мочи,
Не в тигра ли переродится он?
А между тем, беспечная, как птичка,
Порхала средь цветов державная австрийчка
И за миллионом тратила миллион,
Чтоб в Пафос превратить Марли и Трианон!

Все перегибло до сердцевины. Поэты «свои стишки водяные кропали», «нося гибель, долг народный рос», министры беспрестанно сменялись; высшее духовенство, предчувствуя катастрофу, казалось, думало только о том, чтобы спасти свои доходы и поместья, аббаты, позабыв свои обеты, превратились в будуарных шутов и волокит.

¹ Полное собр. стихотв. В. Кюхельбекера Изд. «Библиотеки декабристов». М. 1908, стр. 51—52.

С большой неприязнью говорится в поэме о Марате и Робеспьере, но, упоминая о Дантоне, Кюхельбекер отдает ему должное как выдающемуся, по его мнению, патриоту:

он черным преступлением
Себя ославил, много сделал зла,
Но Францию он спас, когда уж погибала.
Он создал войско, создал генерала,
Он храбрость создал, ребятишек он,
Босых мерзавцев, превратил в героев.
И что ж! пред ними дрогнул тегнон,
Который целой сотней боев
Стяжал в Европе первенство. Дантон
Рукой гиганта, гением таланта
Попятил пруссаков. Свободен край родной,
Но кровь темничных жертв подьмлет к небу вой!

Готова кара великана.
Как лев, погиб он...!

В какой мере Французская революция играла роль в формировании идей декабристов, лучше всего свидетельствует высказывание о ней в начале 1820 г. молодого Вяземского, автора таких «презревших печать» радикальных стихотворений, как «Петербург», «К кораблю» и особенно

¹ Там же, стр. 53—54.

«Негодование», относящихся к 1818—1820 гг. В своей «Записной книжке» начала 20-х годов, не предназначенной к печати, Вяземский, очень близкий в ту пору по своему политическому мировоззрению к декабристам, выступает одновременно против хулителей и своего кумира Вольтера и революции: «Запоздалые в ругательствах, — пишет он, — коими обременяют они Вольтера, называют его зачинщиком Французской революции. Когда и так было бы, что худого в этой революции? Доктора указали на антонов огонь. Больной отдан в руки неискреннему оператору. Чем виноват доктор? Писатель не есть правитель. Он выводит на прямую дорогу а не предводительствует. Требуйте ответа от творца: зачем добро постигается здесь часто страданиями творения? А теперь, когда кровь унята и рана затягивается, осмелитесь сказать, что революция не принесла никакой пользы! Народы дремали в безнравственном расслаблении. Цари были покойнее, но достоинство человека не было ли посрамлено? Как ни говорите, цель всякой революции есть на деле, или в словах, уравнение состояний, обезоружение сильных притеснителей, ограждение безопасности притесненных: предприятие в начале своем всегда священное, в исполне-

нии трудное, но не невозможное до некоторой степени»¹.

И естественно, что при таком взгляде на революцию Вяземский тогда же прилизительно пишет направленное провозглашение «Священного союза» свое «Негодование», в котором предсказывает.

Он загорится день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной
боязни!

Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники
природы!

Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!
Но мне ли медлить? грязную их братью
Карающим стихом я ныне поражу;
На их главу клеймо презренья положу
И обреку проклятью!²

В год восстания декабристов стал выходить «Московский телеграф» Н. А. Полевого — журнал, стоявший на передовых общественных позициях и из-за этого поплатившийся своим закрытием в 1834 г. В нем по разным поводам упоминается

¹ В. Нечаева. Французская литература и П. А. Вяземский в преддекабрьскую эпоху. «Литературное наследство», № 31—32, М. 1937, стр. 78—79.

² П. А. Вяземский. Избранные стихотворения. Ред. В. С. Нечаевон «Academia», 1936, стр. 157.

Французская революция, трактуемая как положительное историческое событие. В обширной докладной записке Николаю I, составленной министром народного просвещения Уваровым, приводится большое количество крамольных выписок из «Московского телеграфа», в том числе таких, в которых идет речь о Французской революции. Так, в связи с июльской революцией 1830 г. в № 1 журнала за 1831 год было написано: «Не сама Франция, но вся Европа назвала французскую химию то движение, которое Франция начала толчком столь сильным и направлением столь умным. Франция долженствовала сделать и сделалась местом того безмерного, векового события, которое целый мир называл и целые века будут называть французскою революциею. Без сомнения, сей переворот был французский, но, бывши французским, он был столько же и европейский. Надобно было вспыхнуть революции XVIII века, революции всеобщей. Не будь сей переворот всеобщим, он не достиг бы своей цели, ибо все частные революции уже были и прошли, и все они вели к всеобщей революции: вот необходимость характера революции XVIII века». Несколькими страницами ниже читаем: «Рассмотрите беспристрастно начало и след-

ствия французской революции и потом не осуждайте общности ее, или осудите век, который она представляла; не осуждайте века, или осудите вместе с ним и XVII век, ибо XVIII век был только продолжением семнадцатого; не осуждайте и XVII, или осудите вместе с ним XVI, приготовивший его; наконец, не осуждайте и XVI века, или предайтесь средним временам, осудите ход и успехи нового общественного образования, утверждайте решительную неподвижность и пр.». В № 6 «Московского телеграфа» за тот же год сказано: «Во Франции совершился переворот великий, но этот переворот был совершенно в народном духе. Франция сама желала его. Французы в своих постановлениях осуществили часть того, что XVIII век изложил в своих книгах. Теория одной эпохи осуществляется следующей эпохою, но дух все тот же. Французы сделались старше 50-ю годами — вот все».

Этими тремя цитатами, извлеченными из доклада Уварова¹, можно ограничиться для характеристики той позиции, какую

¹ Они призедены в статье М. И. Сухомянова «Н. А. Полевой и его журнал «Московский телеграф». См. его «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. II, Спб. 1889, стр. 417—418.

заял в отношении Французской революции «Московский телеграф».

Нет возможности понять не только мировоззрение, но и творческий путь Пушкина, в молодости политического единомышленника декабристов, без учета того влияния, какое оказала на него Французская революция и ее политическая и философская идеология. Культ «вольности» и культ разума у Пушкина — это то, что было родственно идеям Французской революции и что сближало его с декабристами. «Вольность» (1817 г.), послание «К Чаадаеву» (1818 г.), «Деревня» (1819 г.), «Кинжал», «Наполеон» (1821 г.), «Андрей Шенье» (1825 г.) — наиболее очевидные и доказательные примеры положительного отношения Пушкина к тем политическим и общественным идеям, которые питали Французскую революцию, а написанная им во славу «бессмертного ума» «Вакхическая песня» — с ее апофеозом разума, перед которым «ложная мудрость мерцает и тлеет», с заключительным восклицанием — «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — могла быть создана только поэтом, которому близки были свободительные принципы французской предреволюционной просветительной философии. В стихотворении 1830 г. «К вельмо-

же» Пушкин, изобразив заграничные странствования просвещенного баловня судьбы и его впечатления от того, чему он был свидетелем в предреволюционной Европе, продолжает:

Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Паденье всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы

В том же 1830 г. Пушкиным на тему о Французской революции был написан отрывок в форме диалога между А и Б.

«Б. О французской революции Литературная газета молчит, и хорошо делает.

А. Помилуй, да посмотри же, читай: les aristocrates à la lanterne, и повесим их, повесим и т. д. Ça ira.

Б. И ты видишь тут французскую революцию?

А. А ты что тут видишь, смею спросить?

Б. Крики бешеной черни.

А. А что же значили эти крики?

Б. Что тогдашняя чернь остервенилась противу дворянства и вообще противу всего, что не было чернь.

А. Вот я тебя и поймал: а отчего чернь остервенилась именно на дворянство?

Б. Потому что с некоторых пор дворянство было ей представлено сословием презренным и ненавистным.

А. Следовательно, я прав. В крике *les aristocrates à la lanterne* — вся революция.

Б. Ты не прав. В крике *les aristocrates à la lanterne* один жалкий эпизод французской революции — гадкая фарса в огромной драме.

Из приведенной цитаты явствует, что Пушкин не отождествлял самое существо Французской революции с тем, что он считал ее эксцессами, которые были для него «малым эпизодом», «гадкой фарсой» в «огромной драме». Это суждение Пушкина о Французской революции тем интереснее для нас, что в пору, когда писался цитируемый отрывок, Пушкин отошел уже от философских воззрений XVIII в., с чем свидетельствуют больше всего его статьи о Радищеве, в одной из которых («Александр Радищев») он, кстати сказать, резко осуждает террор в эпоху Конвента. Но и в оде «Вольность», написанной «вослед Радищеву», он сочувственно относится к казненному Людовику XVI, который в его представлении

мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.

В стихотворении «Кинжал» Пушкин резко отзывается о Марате, а в «Андрее Шенье» — о Робеспьере и его со-
стниках. Однако самые идеи, выдвину-
е Французской революцией, во всех
их стихотворениях явно исповедуются
шкиным. Даже в «Андрее Шенье», пол-
и негодования на тех, кто обрек поэта
казнь, во весь голос устами Шенье при-
ствуется свобода, добытая как раз ре-
люцией: она, «священная свобода, боги-
считая», не повинна «в порывах буйной
епоты». Поэт верит, что, раз победивши,
льность вновь восторжествует, и «буря
рачная минет». Он умирает, не отрекаясь
т былой веры в то, что революция при-
сла с собой «перерождение земли и что
едалек час, когда «тиран», по воле кото-
ого он гибнет, сам падет.

Впрочем, среди произведений Пушкина
сть одно, в котором он принимает Фран-
узскую революцию безоговорочно — не
олько в ее идее, но и в суровой практике.
едем в виду стихотворение 1821 г. «На-
леон», в котором читаются такие строки:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробуждался мир,
И галл десницей разъяренной
Неизвергнул ветхий свой кумир,
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал

И день великий, неизбежный,
Свободы яркий день вставал —
Тогда в волненьи бурь народных,
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел....
И обновленного народа
Ты буйность юную смирил,
Новорожденная свобода
Вдруг онемев, лишилась сил...

Здесь наступление «дня великого» свободы яркого дня» как раз связывается с казнью Людовика XVI.

Нет сомнения в том, что близость Пушкина к идеям декабристов, его сочувственный отклик на революционное движение в Греции и Испании, интерес к разновосстанию в бытность на юге, позднейший интерес к июльской революции во Франции, к польскому восстанию, к пугачевскому восстанию и крестьянскому революционному движению вообще — все это было сродни принципам, выдвинутым в 1789 годом.

В связи с июльской революцией 1830 г. на которую Пушкин откликается в письмах к Е. М. Хитрово, он предается внимательно изучению Французской революции 1789 г., знакомясь с рядом трудов о ней, в частности с трудами Минье и Тьера и сам собирается в 1831 г. писать труд на эту тему, но дальше небольших заметок

ка еще лишь на тему о французской феодализме, и небольших выписок в несколько строк из источников, с собственными краткими замечаниями, дело у него не пошло. В августе 1832 г. Пушкин еще делает запись о 18 брюмера, со слов испанского революционера в Петербурге, ранее секретаря посольства в Париже¹.

IV

Отношение к французской революции русских писателей, начавших свою литературную деятельность после выступления декабристов, большей частью трудно поддается определению, если в их произведениях или в переписке нет прямых откликов на нее.

Декабристское восстание, июльская революция 1830 г., проповедь Сен-Симона и Фурье, пропагандировавшаяся у нас кружком петрашевцев, революция 1848 г. и, наконец, Парижская коммуна 1871 г. — все эти события и факты в значительной сте-

¹ Об интересе Пушкина к истории Французской революции см. статьи Б. В. Томашевского «Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» и «Французские дела 1830—1831 г. г. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» — в книге «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово». Л. 1927, стр. 253—256 и 49—355.

пени, так сказать, вобрали в себя идейное и политическое содержание Французской революции и тем самым отодвинули ее в более далекую историческую перспективу. Она перестала быть злободневной, как она была еще в пору Пушкина и декабристов, и воспринималась большей частью уже отраженно. Таким отраженным отзвуком Французской революции был в известные мере и байронизм и в некоторых отношениях культ Наполеона. Недаром же Тютчев называл Наполеона «сыном революции», а который «всю ее носил в самом себе», а Пьер Безухов у Толстого в салоне Анны Павловны Шерер называет Наполеона «сыном революции» потому, что «он стал выше революции, подавил ее злоупотребления, удержав все хорошее — и равенство граждан, и свободу слова и печати».

Но и там, где мы встречаемся с отраженным, хотя бы через декабризм, наличием у писателя революционных идей, мы имеем основание в конечном счете связывать их с идеологией революционной Франции. Так обстоит дело со свобододобивыми мотивами поэзии Лермонтова. Тут Лермонтов был несомненным продолжателем традиции поэтов-декабристов, и в его произведениях тема революционного бунта и протеста звучит порой сильнее, чем у са-

х декабристов. Особенно это нужно сказать о раннем творчестве поэта. При известии об июльской революции 1830 г. он оочувственно вспоминает революцию 1789 г. Он пишет («10 июля 1830 г.»).

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны,
И снова знамя вольности кровавой
Явилось, победы знак.

Через несколько дней он вновь приветствует восставших [«30 июля (Париж) 1830 года»] и «знамя вольности», которое

как дух
Идет пред грозною толпой.

Он мечет громы против «тирана» — короля, который хотел «народ унижить под ярмом», и угрожает ему тяжелым отмщением

За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан

Тогда же приблизительно в «Пире Асмодея» Лермонтов намекает на революцию 1830 г. словами 2-го демона, приносящего царю свой подарок:

На стол твой я принес вино свободы,
Никто не мог им жажды утолить,
Его земные опиялись народы
И начали в куски короны бить.

В стихотворении «Новгород» (1830 г.) он обращается памятью к бывшей новгород-

ской вольности и предсказывает гибель «тирану», сковавшему вольность:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем? Погибнет ваш тиран,
Как все тираны тогибали!...
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!...

Тогда же Лермонтов создает свою поэму «Последний сын вольности», где в ореоле гражданского подвига, вслед за Рылевым и Пушкиным, изображается последний защитник новгородской свободы — Вадим.

В своем «Предсказании» Лермонтов предрекает «России черный год» — народное восстание, когда забудется прежняя любовь народа к царям и их «корона упадет», и всюду воцарятся разрушение и смерть.

Юношеские драмы Лермонтова, особенно «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек», — такие же бунтарские пьесы, как и цитированные выше его стихотворения. В них с большой силой звучит еще один мотив — осуждение уродств русского крепостного права.

Протестующий пафос, близкий к революционному, не остыл у Лермонтова с го-

дами. Лучшее доказательство этому — стихотворение «На смерть поэта».

Но и Лермонтов, как и Пушкин в «Андрее Шенье», осуждал революционный террор Конвента. В поэме «Сашка», написанной в 1839 г., мы имеем прямой отклик на Французскую революцию поры Конвента. Сашка любил слушать рассказы своего гувернера — эмигранта, бежавшего из Франции после повешения его отца-маркиза, о событиях революции. В обычных тонах несочувствия террористической деятельности Конвента передается в поэме рассказ гувернера о гибели от руки «убийц ничтожных и безумных» «венчанного страдальца» — Людовика XVI, «прелестной женщины» — Марии-Антуанетты и не уберегшего «высокого чела» поэта — А. Шенье.

Перенесение праха Наполеона с острова Св. Елены в Париж дало повод Лермонтову (стихотв. «Последнее новоселье», 1841 г.) обратиться к французскому народу, в разгар революции, сделавшему «из вольности орудье палача», с негодующими упреками за то, что он изменил тому, кто некогда спас его от гибели.

Всею внутренним существом своего творчества породнившийся с духом революции, Лермонтов, однако, не способен был принять и понять ее в ее неизбежном ис-

торическом развитии Это смогли сделать лишь революционные разночинцы-демократы, начиная с Белинского, и Герцен

V

Лермонтовские пьесы «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек» тематически сближаются с пьесой Белинского «Дмитрий Калинин» В «Дмитрии Калинине» мотивы личного и социального бунта звучат, однако, еще значительно сильнее, чем в пьесах Лермонтова По силе протеста против крепостного права, отличающей пьесу Белинского, ее нужно поставить на втором месте после «Путешествия» Радищева. Она написана была тогда, когда Белинскому было двадцать лет

В пору своего интереса к Фихте, в 1836 г., Белинский впервые заявил свое равнодушие к Французской революции, при этом революции поры Конвента Это было в Премухине, когда он гостил у Бакунина В присутствии старика Александра Михайловича Бакунина он выразил одобрение французским террористам, чем привел хозяина дома в большое смущение Об этом эпизоде сам Белинский вспоминал в письме к М. А. Бакунину от 12—24 октября 1838 г. «Ты помнишь, — писал он, — какую фразу отпустил я за столом и как подей-

ствовала она на Александра Михайловича; но знаешь ли что? — я нисколько не раскаиваюсь в этой фразе и нисколько не смущаюсь воспоминанием о ней ею выразил я совершенно добросовестно и со всею полнотою моей неистойвой природы тогдашнее состояние моего духа Да, я так думал тогда, потому что фиктианизм понял как робеспьеризм и в новой теории чувствовал запах крови»¹.

Став с начала 40-х гг. на длительное время приверженцем идей утопического социализма, Белинский вернулся к тому протестующему настроению, какое присуще ему было в период написания «Дмитрия Калинина» Тогда уже не мимолетно, а продолжительно его очень волнуют и занимают дела и люди Французской революции Он не мог об этом писать в своих статьях, предназначенных для печати, но писал в письмах, адресованных к друзьям. В письме к Боткину от 11 декабря 1840 г. он с горькой самоукоризной говорит о той «дичи», которую он «изрыгал» в неистовстве, с пеною у рта, против французов—«этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права чело-

¹ Белинский Письма Ред. Е. А. Ляцкого Спб. 1914 т. I стр. 275

вещества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore [с трехцветным знаменем]»¹. В письме к нему же от 23 июня 1841 г. он сообщает о том, что читает Плутарха, который сводит его с ума, как сводил он с ума в XVIII в. энтузиастов республики. Он весь теперь «в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести». У него «развились какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только в обществе, основанном на правде и доблести». Через Плутарха он понял многое, чего раньше не понимал. «Я понял, — пишет Белинский, — и французскую революцию и ее римскую помпу, над которой раньше смеялся. Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть с коляскою с гербом». Для него человеческая личность сделалась пунктом, на котором он боится помешаться. «Я начинаю любить человечество маратовски, — говорит он, — чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную»².

¹ Письма, т. II, стр. 186.

² Письма, т. II, стр. 246, 247.

В 1838 г. в рецензии на «Краткую историю Франции до Французской революции» Мишле Белинский писал: «Вольтер был подобен сатане, освобожденному высшею волею от алмазных цепей, которыми он прикован к огненному жилищу вечного мрака, и воспользовавшемуся кратким сроком свободы на пагубу человечества»¹. А 8 сентября 1841 г., опять-таки в письме к Боткину, он говорит: «Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Канн») и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется — непосредственной), и потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средние века — великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков; но мне приятнее XVIII век — эпоха падения религии: в средние века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII в. — рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности»².

¹ Полное собрание соч. В. Г. Белинского под ред. С. А. Венгерова, т. III, Спб. 1901, стр. 410.

² Письма, т. II, стр. 267.

Далее Белинский высказывает уверенность, что настанет время, когда никого не будут жечь и никому уже не станут рубить головы.

К сожалению, до нас дошел лишь конец письма Белинского к Боткину от апреля 1842 г., где, видимо очень пространно, Белинский высказывался о Французской революции и в частности, судя по письму Грановского к Белинскому, о Робеспьере, с приведением отрывков из его речей. Сохранившаяся часть письма начинается с восторженной оценки «достойного провозвестника истин бессмертных», «наставника человечества» — очевидно, Руссо. «О, если бы он был свидетелем этой революции, он — предтеча ее, — с какою бы любовью, с каким увлечением вступился бы он за дело правосудия и равенства», пишет Белинский.

И далее, переходя к Робеспьеру, о котором, видимо, шла речь в не дошедшей до нас части письма, он утверждает, что «Робеспьер был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, не ритор, и что тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснотушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым

мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов»¹.

Однако после того как Белинский охладил к идеям утопического социализма, он, видимо, стал сдержаннее относиться к

¹ Письма, т. II, стр. 305. Это письмо Боткин прочел Грановскому, который в своем письме к Белинскому возражает против его оценки Робеспьера, с одной стороны, и Жиронды — с другой. «Тебе нравится личность Робеспьера потому. — говорит Грановский, — что он удовлетворяет делами своим твоей ненависти к аристократам и т. д. Но, боже мой, сколько мелких личных побуждений вмешивалось в общие виды Робеспьера. Как бесконечно выше его стоит S-Just, ограниченный фанатик, но благородный и глубоко убежденный. Красноречие Робеспьера, несмотря на приводимые тобою отрывки, все-таки далеко не может сравниться с красноречием жирондистов, не говоря уже о Мирабо... Жиронда выше его потому именно, что у нее не доставало так называемого практического смысла. Она понимала значение революции, которая должна была изменить не одни наружные политические формы, но решить все общественные задачи и противоречия, которыми так давно страдает мир. Жиронда определила и указала на все вопросы, о которых теперь размышляет Европа; Жиронда объявила, что революция не есть событие французское, а всемирное; Жиронда сошла в могилу чистая и святая, исполнив свое теоретическое назначение. Робеспьер, хотя он говорит противное, смотрел на революцию как на событие политическое (исключительно) и французское; оно

Робеспьеру и, кстати сказать, к Руссо, о котором в 1842 г. говорил с таким благоговением и восторгом, считая его предтечей революции. В письме к Анненкову от 1 марта 1847 г. он называет приверженцев

то доставило среднему сословию то положение, из которого его может выбить только новая революция... Несмотря на наше разногласие о Робеспьере, почти во всем прочем я с тобой согласен... Читай французских историков и достань себе «Encyclopédie Nouvelle», она познакомит тебя с Lefoux, одним из самых умных и благородных людей в Европе». («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М. 1897, стр. 439—440). (Для понимания отношений Грановского к Французской революции очень показательны его письмо к Кетчеру от 14 января 1844 г., в котором он жалуется на попечителя Московского учебного округа Строганова, требовавшего от Грановского излагать реформацию и революцию «с католической точки зрения, как шаг назад». «Я предложил, — пишет Грановский, — не читать вовсе о революции. Реформации уступить я не мог. Что же бы это была за история?» Там же, стр. 462). Боткин в письме к Герцену от 28 мая 1842 г. просит его передать через Кетчера Грановскому, что его мнение о Робеспьере и жирондистах «совершенно противоположно мнениям всех лучших умов во Франции, и Леру в особенности. Леру чрезвычайно высоко ставит Робеспьера, называя его la pythionisse et oracle de la Révolution [ворожеей и оракулом Французской революции] и решительным противником bourgeoisie, представителями которой, по мнению Леру, были жирондисты» (Белинский. Письма, т. II, стр. 425).

политического социализма «добродетельной партией», «новыми мусульманами», «у которых Руссо — Алла, а Робеспьер — пророк его»¹. В ноябре 1847 г. Тургенев в письме к Белинскому сообщал: «Вышла 2-я часть истории Мишле, которую умные люди хвалят. — Брошюра одного старика, современника революции — «Le Robespierre de M-r de Lamartine», в которой он доказывает, что Ламартин сочинил небывалого Робеспьера. Я ее не читал, но прочту»². Очевидно, эта брошюра была направлена против того освещения личности Робеспьера, которое имелось в книге Ламартина «История жирондистов», вышедшей в 1847 г. При всем своем апологетическом отношении к Жиронде Ламартин очень уважительно расценивает Робеспьера и положительно отзываясь о нем как о политическом деятеле. И вот, узнав о выходе в свет брошюры, Белинский в письме к Анненкову от декабря 1847 г. просит его: «Бога ради, уведоьте меня о брошюре против Ламартина, по поводу Робеспьера»³. По всей вероятности, Белинский хо-

¹ Письма, т. III, стр. 187.

² Там же, стр. 385.

³ Там же, стр. 320.

тел в брошюре найти поддержку для себя в переоценке Робеспьера.

Увлеченный в последние годы своей жизни верой в положительную роль буржуазии в деле европейского и в частности русского прогресса, Белинский с большим историческим чутьем и основных деятелей Французской революции считает выразителями интересов буржуазии. «Все теперешние враги буржуазии и защитники народа, — говорит он в письме к Боткину от декабря 1847 г., — так же не принадлежат к народу и так же принадлежат к буржуазии, как и Робеспьер и Сен-Жюст»¹.

Таким образом — в конечном итоге — Белинский подчеркивает положительное историческое значение деятельности якобинцев и тем самым положительную роль Французской революции, поскольку она — по взгляду Белинского — содействовала укреплению позиций наиболее прогрессивного в новую историческую эпоху класса — класса буржуазии.

До конца жизни теперь уже Белинский был во власти того революционного мировоззрения, которое в начале 40-х годов складывалось у него в сильной мере в со-

¹ Там же, т. III, стр. 328.

снии с идеями Французской революции. «Было и думал» Герцен пишет о том, что весть о февральской революции еще не стала Белинского в живых, и «он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро»¹.

А еще 14 ноября 1842 г. Герцен в своем дневнике записал: «Письмо от Белинского. Фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Истинно его люблю. Тип этой породы людей — Робеспьер. Человек для них ничего, убеждение — все»².

В развитии революционных идей в России Ленин ставит Герцена между декабристами и революционными демократами — разночинцами: «Декабристы, — пишет он, — разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли»³.

¹ А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XIII, стр. 27. В дальнейшем цитаты из Герцена по этому изданию.

² Соч., т. III, стр. 55.

³ Ленин, Соч., т. XV, стр. 468.

Герцен на события Французской революции смотрел уже теми глазами, какими смотрели на нее революционные демократы — Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Щедрин. Он, как и они, воспринимал революцию как положительный и благодетельный для человечества исторический факт на всем ее протяжении. И Герцен, и революционные демократы не делили революцию на периоды до Конвента и после него и не осуждали террористической практики Конвента.

И не только Герцен, но и революционно настроенные его сверстники точно так же в большинстве принимали революцию на всех ее этапах. «Кто из нас, — писал Герцен в 1865 г. о своем поколении, — не слышал громовых речей Мирабо и Дантона, кто не был якобинцем, террористом, другом и врагом Робеспьера, даже солдатом республики у Гоша и Марсо? Мы так же пережили Руссо и Робеспьера, как французы, Шеллинга и Гегеля, как немцы»¹. В «Былом и думах» Герцен говорит о том, что Кетчер «на сон грядущий вместо молитвы читал речи Мирабо и Робеспьера»². В «Письмах из Франции и

Италии» читаем: «Мы привыкли с словом Париж сопрягать воспоминания великих событий, великих масс, великих людей, 1789 и 1793 годы, — воспоминания колоссальной борьбы за мысль, за права, за человеческое достоинство, — борьбы, продолжавшейся после площади то на поле битвы, то в парламентском прении. Имя Парижа тесно связано со всеми лучшими упованиями современного человека»¹. Известно, что Печерин, будущий католический монах, бежав в 30-х гг. из России, чтобы примкнуть к западно-европейскому революционному движению, становится на некоторое время последователем учения Бабефа.

В цитированной уже статье «Памяти Герцена» Ленин писал: «Минуло сто лет со дня рождения Герцена. Чествует его вся либеральная Россия, заботливо обходя серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличался революционер Герцен от либерала. Поминает Герцена и правая печать, облыжно уверяя, что Герцен отрекся под конец жизни от революции»².

¹ Соч., т. VI, стр. 65.

² Соч., т. XV, стр. 464.

¹ Соч., т. XVIII, стр. 46.

² Соч., т. XIII, стр. 208.

Достаточно привести высказывания и суждения Герцена о Французской революции, чтобы подтвердить тезис Ленина о том, что Герцен, разбуженный декабристами, всю жизнь был убежденным революционером, подготовившим выступление революционеров-разночинцев.

Уже в 1836 г. Герцен пишет очерк «Первая встреча», в котором зло высмеивает филистерское равнодушие к Французской революции со стороны Гёте. Эпиграфом к очерку взяты слова самого Гёте «Я не могу судить о том, что хорошего или что дурного принесла Французская революция; я знаю только, что из-за нее я сносил за эту зиму несколько лишних пар чулок» («Die Aufgeregten»). В гостиной, во французском доме, около 1815 г. немец, побывавший в 91—92 гг. в Париже и бежавший оттуда в Эльзас, рассказывает о своей встрече в прусско-австрийском лагере с Гёте. Гёте, обращаясь к сыну герцога, выражает сожаление о том, что «беспорядки» во Франции продолжают так долго. Он собирался ехать туда, чтобы видеть Францию — блестящую и пышную монархию, чтобы «видеть трон, год лилиями которого возникли великие гении и великая литература, а не развалины его, под которыми уничтожались все

великое, а не второе нашествие варваров». Впрочем, он уверен в том, что «горячка эта не долго будет продолжаться, и ежели сами французы не образумятся, их образумят».

Рассказчика поражает, что автор «Гецца», «Вертера» «Фауста» в 1792 г., в пору колоссальных событий, притом тогда, когда немецкую армию бьют, занимается теорией цветов. Гёте пишет легкий фарс на революцию, «маленькую насмешку над огромным явлением, которое все имело в себе, кроме смешного». Одному из присутствующих в гостиной, защищающему право великого поэта не быть политиком, рассказчик возражает: «Не политики — симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общей жизнью человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных, — они должны на него действовать, в какой бы то форме ни было». Рассказчик отнюдь не считает себя «карбонаром». Он с сочувствием и уважением относится к Ларош-Жаклену, бешеному вандейцу, убитому при вандейском восстании, к старику Мальзербу, погибшему на плахе за преданность Людовику XVI, потому что и тот и другой откровенно были

одушевлены любовью к монархии, и в них не было мистификации. Гёте же были свойственны и мистификация, и эгоизм, и равнодушие ко всем тем идеалам, которыми живет человечество. Он не гнушался быть придворным поэтом, по заказу составлявшим оды на приезды и отъезды, на разрешения от бремени, выздоровления и т. д. В большей части сочинений Гёте нет искренности: «он пародирует, он на сцене театра при свете ламп, а не сцене жизни, при свете солнца». И потому рассказчик готов «преклонить колени перед творцом «Фауста», так же как готов раззнакомиться с тайным советником Гёте, который пишет комедию в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества, непрерывно занимаясь своею биографиею».

В измененной редакции этот очерк вошел в последнюю главу «Записок одного молодого человека», озаглавленную «Патриархальные нравы города Малинова».

Герцен признает прежде всего историческую неизбежность революции. В том же 1836 г., в «Отдельных мыслях», он говорит о том, что произведение человека имеет пребываемость, но иное производится для гибели других и собственной. Таков брандер, назначение которого губить и са-

мому погибнуть в пожаре, сгореть даже прежде, чем сгорит корабль. Но не всякий тонь на море — брандер. Есть и маяки. Фаросы, указывающие путь кораблям. Провидению нужны и брандеры и фаросы, брандеры — в войну, фаросы — всегда. Аттила, Аларих, Дантон, Мирабо — были брандерами, пущенными провидением в стан врагов. Если бы на их долю не выпала большая историческая роль, они все равно, даже в своем домашнем быту, прозывали бы пожар. Пример Мирабо подтверждает это. Марат, прежде чем появиться на трибуне Конвента с требованием казни поколений, был доктором медицины и написал сочинение о теории света, в котором он с той же яростью ниспровергал опыты и теории своих предшественников. Герцен считает, что французский историк Кине очень остроумно сравнивал Робеспьера и Фихте, Наполеона и Шеллинга¹.

Позже Герцен подсмеивался над теми, кто, изучая Французскую революцию по легитимистским и иезуитским учебникам, считал ее за мятеж, Робеспьера за разбойника с большой дороги, якобинцев за шайку воров.

¹ Соч., т. I, стр. 340—341.

Герцен ясно сознает величие Французской революции для судеб человечества «Велика Французская революция, — пишет он 27 июля 1843 г. в своем дневнике, — она перзая возвестила миру, удивленным народам и царям, что мир новый родится и старому нет места»¹.

Читая письма Форстера, знаменитого майнцкого депутата при Конвенте 93 г., Герцен восхищается всесторонней гуманностью Форстера, пламенным желанием практической деятельности, энергией, трезвостью его суждений. Необыкновенным такт в понимании жизни помог ему оценить значение для человечества Французской революции. «Этот ясный взгляд и симпатии ко всему человеческому, энергическому, — пишет Герцен, — раскрыли ему тайну французской революции среди ужасов 93 года, которых он был очевидец»².

Величие событий, дел и людей Великой революции особенно сильно ощущается Герценом при сравнении ее с революцией 48 года. Говоря о последней в «Письмах из Франции и Италии», Герцен называет ее бледною, потому что она была ниже обстоятельств; она была копией, а не ори-

¹ Соч., т. III, стр. 130.

² Соч., т. III, стр. 308.

гиналом. «Вот отчего, — продолжает он, — сказания о времени первой революции при двадцатом повторении все так же захватывают душу, отчего в понятии каждого из нас навеки врезались пластические лица, события, слова, взятие Бастилии, ответ Мирабо, 10 августа, Дантон, Робеспьер и все эти гиганты войны и гиганты цивилизма...». Сказав далее о том, что члены временного правительства через сто лет будут более забыты, чем второстепенные деятели Великой Французской революции, Герцен продолжает: «Апостолы и якобинцы веровали, что они спасают мир, что их спасение есть единое возможное, и оттого, действительно, спасли его. Разумеется, с абсолютной точки зрения они не были правы, они увлекались, ошибались в раз- мере делаемого, но это увлечение и эти ошибки находятся во всем гениальном и великом»¹.

По мнению Герцена, истинные деятели в истории не должны заранее составлять себе твердых, окончательно установленных теорий и целей. Само собой разумеется, что существуют краугольные начала, общие тенденции, очень осознанные, но не должно быть требования осуществлять

¹ Соч., т. VI, стр. 105

их по субъективному мнению; надо сообразоваться с обстоятельствами и, поняв их, «стать во главе их, покоряясь им, покорить их себе». Самым, «трогательным» примером вреда от настроений для Герцена является Лафайет. Он — идеалист в политике. «Человек жизни, — говорит Герцен, — идет до конца, до последних следствий. Человек рефлексии и теорий не идет дальше грани, поставленной им самим, и тут всегда, при безусловной чистоте, при таланте он тормозит ход происшествий, а так как гора крута, — его расшибает, как Жиронду. Ни Робеспьер, ни Наполеон не могли иметь предварительно определенного плана действия; они были живые органы, отдавшиеся событиям, участникам и развивателям их, и, наоборот, развивались ими»¹.

Террор, сопровождавший революцию, несколько не дискредитирует в глазах Герцена самого дела революции. В дневнике от 3 апреля 1844 г., говоря о Петре I и определяя его как странное сочетание гениальности с натурой тигра, Герцен видит в нем соединение Марата, Робеспьера, и Фукье-Тенвиля — прокурора Французской республики во время террора. И тут

он оговаривается: «Понять, оправдать, судить не только справедливость, но склоняться перед грозными явлениями Конвента и Петра — долг; более — в самых инстинктах их не должно терять явного признака величия. Но не всех актеров 3 года можно любить, также Петра»¹.

Через пятнадцать лет, в статье «Русские немцы и немецкие русские» Герцен писал: «Петр I, Конвент 1793 и не несут на себе той ответственности за все ужасы, сделанные ими, которую хогят на них опрокинуть их враги. Они оба были увлечены, хотели великого, хотели добра, ломали, что им мешало, и, сверх того, верили, что это — единственный путь»².

Наконец, в 1869 г., за год до смерти, в письмах «К старому товарищу» Герцен вновь сопоставляет деятельность Петра и деятельность Конвента: «Петр I, Конвент научили нас шагать семимильными шагами шагать из первого месяца беременности в девятый и ломать без разбора все, что попадется на дороге. Die zerstörende Lust ist eine schaffende Lust»³ — и вперед за неизвестным богом истребителем,

¹ Соч., т. III, стр. 322.

² Соч., т. X, стр. 123.

³ Страсть к разрушению — жаждающая страсть (формула Бакунина).

тыкаясь на разбитые сокровища вместе со всяким мусором и хламом»¹.

Мало того, Герцен исторически оправдывает террор. В «Письмах из Франции и Италии» он пишет: «Террор 93 года был величествен в своей мрачной беспощадности: вся Европа ломилась во Францию наказать революцию; отечество, действительно, было в опасности. Конвент завесил на время статую свободы и поставил гильотину стражей «прав человеческих». Европа с ужасом смотрела на этот вулкан и отступала перед его дикой, всемогущей энергией; террор хотел спасти Францию и вместо этого победил Европу. Когда миновало его время, те, которые обрекли себя на страшную долю судей, положили, в свою очередь, голову на плаху: их надобно было казнить, это своего рода *lex talionis* [закон возмездия], головы их пали, и оставленный топор заржавел»².

Говоря в «Былом и думах» о том, что террор не спас молодой республики и лишь ускорил лихорадку термидора, Герцен все же считает, что «террор был величествен в своей грозной неожиданности, в своей неприготовленности, колоссальной

¹ Соч., т. XXI, стр. 434.

² Соч., т. VI, стр. 78.

ти». «Террористы, — пишет он, — были не дюжинные. Суровые, резкие образы глубоко выявились в пятом действии XVIII века и останутся в истории до поры, пока у рода человеческого не забет памяти»¹.

С симпатией говорит Герцен в «Письмах из Франции и Италии» о члене Комитета общественного спасения Кутоне — одном из числейших лиц великой драмы», которому не удалось облегчить судьбу оставшей против Конвента лионской буржуазии, потому что обездоленные лионские рабочие сами потребовали от Конвента суровой расправы со своими хозяевами фабрикантами, и на смену сострадательному Кутону были посланы Конвентом Марье и Фуше, утопившие в крови контрреволюционных лионцев.

Еще в дневнике 1843 г. Герцен возражает тем, кто протестовал против самого ведения процессов Людовика XVI и Карла I. Он указывает на то, что во время переворота политические преступники всегда судятся не по обычным нормам права, так как цель подобных процессов вовсе не раскрытие истины, виновности, обвинение, победа принципа». Казнь

¹ Соч., т. VI, стр. 4—5.

Людовика XVI и Карла I нужна была для торжества революционной идеи и для спасения самой революции. Обстоятельства, в каких находились тогда Франция и Англия, неизбежно должны были, по мысли Герцена, привести к казни королей «Не гораздо ли страшнее и гнуснее, — спрашивает Герцен, — видеть, как в монархии в спокойное время, когда ничего не боятся, судят исключительными судами и инквизиторскими порядками не только политических преступников, но людей неосторожных, авторов эпитаграммы или остроты за чашей вина? Зачем всегда укачивать на бурное время, когда в штиль, без нужды, делают то же?»¹

Попав в 1863 г., после трехмесячного отсутствия, в Англию, Герцен наткнулся на кучу русских реакционных газет, которые вызвали в нем сильнейшее отвращение. «Что перед ними неаполитанские катакомбы и парижские клоаки, что перед ними Марат и геберисты — восклицает он. — Те были фанатики tout de bon [искренно], не по тысяче целковых с фанатизма. Они, едва воскреснувшие от долгого гнета, неслись без оглядки, ошибались, ломали, лили кровь, теряли морально и физически

¹ Соч., т. III, стр. 121.

лову, но были честны, но были чисты в своем идеале, в своей вере, а наши нечестные и москворецкие Камиллы Демулены, наши «Père Duchesne'ы» III Отделения, фанатики рабства, бульдоги, дрессированные Муравьевым на поляков, цинические, дерзкие, мерзкие, наглые, опертые на две милиции, на цензуру, на консисторию, — они возвели в литературную речь все грубое и гадкое, что грязнило у нас казарму, съезжую, помещичью переднюю и исправительную конюшню русского демократического дворянства»¹.

Французская революция 1789 г. нашла себе отражение и в беллетристических произведениях Герцена. Об одном из них — «Первой встрече» с его вариантом, вошедшим в главу из «Записок одного молодого человека» — «Патриархальные нравы города Малинова», сказано было выше. К 1851 г. относится работа Герцена над повестью «Долг прежде всего», оставшейся незаконченной (о ней, кстати сказать, Толстой однажды сказал: «Ничего подобного нет в русской литературе»)². В чет-

¹ Соч., т. XVI, стр. 554—555.

² Л. Н. Толстой. Полное собр. соч. под общей ред. В. Г. Черткова, т. 55. М. 1937, стр. 414.

вертой главе этой повести («Троюродные братья») рассказано о взятии Бастилии. В 1869 г., на пороге смерти, Герцен пишет повесть «Доктор, умирающие и мертвые», в которой выступает фигура доктора — материалиста, француза, современника и очевидца событий революции 1848 г. Варьируя уже знакомые нам мысли, Герцен сопоставляет деятелей революции 1848 г. с деятелями революции 1789 г. «Подумайте, — говорит он, — какие медики нашли бы вам пульс девяностых годов у наших либералов сорок восьмого? Возьмите портреты тех... Мирабо, Дантон — felis leo [лев]... Марат — собака, бульдог, Робеспьер — felis catus [дикая кошка]... барс, кошка, да какая кошка! Черты, глаза, раз замеченные, остаются навеки в мозгу! Гош, Марсо... в этих лицах горит огонь, эти люди объаты страстью; они отдались, они все тут, у них нет дома, семьи, неба, у них нераздельная республика и отечество в опасности, у них все в общем урагане, на трибуне, на поле битвы... Как в такой горячке не наделать чудес, не разрушить мир и не сотворить другой! Головы валяются, ряды солдат валяются, стены валяются, а небосклоны становятся все шире и шире... Одно преступление за другим, одно безумие за другим, и никто не заме-

дет из-за величия лиц, из-за света событий. Все диссонансы, все свирепое, кровавое, темное тонет в ярких красках восходящего солнца»¹.

При сравнении с деятелями 90-х годов деятели 48 года кажутся доктору жалкими и ничтожными. Им нужно было сшить себе жилеты à la Robespierre, чтобы походить на якобинцев; это не «отцы отечества», а «какие-то квартальные на следствии», они честные, добрые люди, но они попали не на место, у них нет священного огня; у некоторых из них золотое сердце, но золотое оно для домашнего обихода, для жены, для приятелей.

Центральная часть повести отведена рассказу доктора о жизни и смерти его пациента Лукаса Ральера, который сам себя называл гражданином Тразеас-Граком Ральером. Это страстный республиканец, монтаньяр, «последний римлянин», против своей воли освобожденный из тюрьмы. Он друг и страстный поклонник Ромма, воспитателя молодого Строганова. Откликнувшись на его приглашение, он приезжает в Россию, из которой после смерти Павла, разочарованный в своем воспитатнике, уезжает, чтобы, долго поез-

¹ Соч., т. XXI, стр. 438—459.

див по свету, эчутиться внонь в Париже после 1830 г. Он свысока смотрит на конституционную монархию и считает, что республика настоящая за плечами. Его замешанного в дело Барбеса и Бланки, сажают в тюрьму. Ему было тогда уже за шестьдесят. Через шесть лет его, больного ревматизмом, освобождают, и он попадает на попечение сына, большого дельца, карьериста, очень далекого от республиканских увлечений. Старик доживает, разбитый параличом, до семидесяти шести лет, сохраняя весь пыл своих молодых республиканских увлечений. Он изучает по новому изданию процесс Ромма, собираясь торжественно уличить в криводушии редакторов, из которых никого уже не было в живых, и хранит, как святыню, табакерку Ромма, его портрет и шейный платок Гужона, покрытый кровью. Он — нераскаянный якобинец и атеист, ненавистник иезуитов; он не боится смерти, но испытывает судорожный страх перед тем, что его сын и невестка, для того чтобы не дискредитировать в глазах общества свою семью, могут в последний момент привести к нему «черного таракана» — аббата, который совершит над ним, умирающим, христианский обряд. Он просит доктора не покидать его в последние минуты, чтобы не до-

стить присутствия священника при его кончине. Но доктор оказывается бессильным помешать сыну соблюсти церковный ритуал над умирающим отцом. Старик Ральер умирает в первый же день февральской революции, услышав звуки Марсельезы и весть о торжестве республики. Последний момент появляется в дверях аббат, вызывающий у старика крик ужаса. Аббат читает отходную. Ральера хоронят по церковному обряду.

Так повестью о пламенном якобинеце, принесшем свою преданность идеалам монаньяров до 48 г., Герцен накануне Парижской Коммуны откликнулся на волновавшие его всю жизнь высокие идеи первой Французской революции.

VI

Эти идеи — и не только идеи, но, как и у Герцена, так же и вся практика Французской революции в большой мере вызывали сочувствие Чернышевского. Однако, по словам Ленина, «Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым де-

мокротом. От его сочинений веет духом классовой борьбы»¹.

Еще двадцатилетним юношей, в 1848 г. после прослушания одной из университетских лекций, он записывает в дневнике «Мне показалось, что я террорист и впоследствии красной республики. Я несколько поопасался за себя»². Через полмесяца в том же дневнике читаем такую запись: «Мне кажется, что я стал по убеждениям г. конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно, но мне кажется, что противники этих господ нисколько в сущности их не понимают и обезображивают и клеветуют на них, как я убедился»³. По свидетельству бывшего на каторге с Чернышевским С. Г. Стахевича, Чернышевский однажды сказал ему: «Я всегда был и теперь остаюсь высоко мнения о Робеспьере — нахожу в нем большое сходство с собою»⁴. По словам того же Стахевича Чернышевский подарил в Бельгии кондук

¹ Ленин. Соч., т. XVII, стр. 342.

² Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 105.

³ Там же, стр. 122.

⁴ Сб. «Н. Г. Чернышевский», изд. О-ва политкаторжан. М. 1928, стр. 105.

тору железнодорожного вагона том истини Французской революции Луи Блана, в котором шла речь о Робеспьере.

Идеолог крестьянской революции, предшественник русских материалистов, близко подходивший к материалистическому пониманию истории с ее учением о классовой борьбе, Чернышевский разделял якобинскую идеологию беспощадной политической борьбы с реакцией. Он не боялся суровости и даже жестокости, которыми неизбежно должна сопровождаться эта борьба.

Записывая в 1850 г. в дневник свои мысли о грядущей русской революции и думая о том, что, может быть, на первых порах из нее не выйдет ничего хорошего, и, возможно, надолго увеличится угнетение, Чернышевский, однако, приветствует революцию и ждет ее. «Человек, — пишет он, явно имея в виду дальше террор Конвента, — не ослепленный идеализацией, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может утрачиться от этого: он знает, что много и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно. Пусть будут со мною конвульсии, — я знаю, что без конвульсий

нет никогда ни одного шага вперед в истории»¹.

В 1859 г. в одном из своих политических обзоров Чернышевский, намекая на революционную практику, говорил: «Мы не хотим решать, хорошая ли вещь военные победы; но решайтесь, прежде чем начнете войну, не жалеть людей, а если хотите жалеть их, то не следует вам и начинать войны. Что о войне, то же самое надобно сказать и о всех исторических делах: если вы боитесь или отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, то и не принимайтесь за него и не берите на себя ответственности руководить им, потому что вы только испортите дело»². В том же духе он писал и в 1861 г.: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие, благодетельное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что

¹ Полн. собр. соч., т. I, стр. 357.

² Полн. собр. соч., т. V, Спб. 1906, стр. 407.

нравственную чистоту можно понимать различно»¹.

Так мог говорить только человек, глубоко проникшийся теми идеями, которыми руководились и деятели Конвента—Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон.

Чернышевский написал несколько статей по истории Франции конца XVIII в. и первой половины XIX в. «Кавеньяк», «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Тюрго, его ученая и административная деятельность» (1858 г.) и «Июльская монархия» (1860 г.). Как видим, в серии статей отсутствует статья о революции 1789 г., и это объясняется, разумеется, цензурными причинами. Но Чернышевский, давая острый анализ классовой борьбы во Франции до революции 1789 г. и путем ознакомления с историей Франции помогая русскому читателю разобраться в политических вопросах применительно к русской действительности, намекает, довольно ясно для вдумчивого читателя, и на события первой Французской революции.

Так, упоминая об отце диктатора Кавеньяка, Чернышевский, очень осторожно,

¹ Полн. собр. соч., т. VIII, Спб. 1906, стр. 37—38.

обходя цензурные рогатки, высказывает недвумысленное сочувствие деятелям Конвента, когда пишет: «При начале первой революции он сделался жарким ее приверженцем и был выбран членом национального Конвента, в котором *поддерживал все решительные меры, казавшиеся тогда нужными для борьбы с вандейцами, эмигрантами и европейскою коалициею*»¹. И, совершенно очевидно, лишь из цензурных соображений он добавляет, что, действуя твердо, Кавеньяк — отец «не запятнал, однако же, себя жестокостями, которыми повредили общему делу некоторые из его товарищей по убеждениям»². Это прекрасный образчик того, как Чернышевский, по словам Ленина, «чисто революционные идеи... умел излагать в подцензурной печати»³.

Говоря о французских реакционерах и либералах посленаполеоновской эпохи, Чернышевский, большею частью не упоминая прямо о революции 1789 г., с невыгодной для них противопоставляет им деятелей первой революции. Так, характеризуя диктатуру в 1848 г. умеренных республикан-

цев во главе с Кавеньяком, он пишет: «Ужасен и противен всем понятиям, — не говорим уже о законности или гуманности, — но всем понятиям обыкновенного житейского смысла был путь, который привел их к этому господству. Все, в чем некогда обвиняли они предшествовавшие правительства, было совершено ими в громаднейших размерах»¹. Касаясь роялистов, выступивших при реставрации Бурбонов и вербовавшихся из вернувшихся во Францию эмигрантов, Чернышевский пишет о том, что они не только покинули Людовика XVI, но настаивали на том, что казнь короля необходима для блага Франции. При реставрации Бурбонов они стремились к восстановлению привилегий, которыми пользовались до революции дворянство и высшее духовенство, так как сами принадлежали к высшему дворянству. Что же касается либеральной буржуазии, то она старалась удержать в своих руках власть, ранее принадлежавшую аристократии².

Клеймя роялистов и либералов за их политический оппортунизм, своекорыстие и двоедушие, Чернышевский говорит о тех гонениях, которым подвергались при рес-

¹ Курсив мой. — Н. Г.

² Полн. собр. соч., т. IV, Спб. 1906, стр. 3—4.

³ Ленин. Соч., т. I, стр. 178.

¹ Полн. собр. соч., т. IV стр. 26

² Там же, стр. 162—163.

таврации все те, кто остались верными принципам, провозглашенным первой революцией. «Все люди,— пишет он,— защищавшие гражданское равенство французов перед законом, противившиеся восстановлению старинных привилегий и феодальных несправедливостей, назывались в то время у правительства революционерами; все, принимавшие какое-нибудь участие в событиях революции, были казнены, изгнаны или заключены в темницу»¹. Говоря об «образованных простолюдинах», т. е. о пролетариате, для которых «либералы, разумеется, не могли служить представителями страстей и интересов, двадцать лет тому назад вызвавших Французскую революцию», Чернышевский утверждает, что такие «простолюдины» чуждались либералов в такой же степени, как и роялистов. Убийство рабочим Лувелем в 1826 г. герцога Беррийского для Чернышевского является иллюстрацией революционного возбуждения широких масс, остававшихся в стороне от участия в государственных делах².

Широкие народные массы, по мысли Чернышевского, дорожили завоеваниями

¹ Там же, стр. 169

² Там же стр. 174

первой революции, но в конце концов эти завоевания так мало улучшили положение народа, что он не имел основания быть довольным своей судьбой «Во французском народе,— пишет Чернышевский,— самым живым преданием было воспоминание о национальной славе, какою блистала Франция при Наполеоне. Под этим воспоминанием таилось еще более сильное чувство привязанности к новому гражданскому устройству и нечависть к старинным феодальным правам, разрушенным революцией. Народ дорожил новыми учреждениями потому, что они улучшили его материальное положение сравнительно с тою судьбою, какую имел он в прежние времена. Но, с другой стороны, улучшение, хотя и очень чувствительное, не было так велико, чтобы масса народа была очень довольна своим настоящим»¹.

В «Очерках гоголевского периода» Чернышевский восстает против французства, которым особенно отличался «Московский наблюдатель», в предисловии к переводу «Гегелевских речей» обрушившийся на Французскую революцию как на источник человеческого развращения. Он утверждает, что Лермонтов в «Последнем

¹ Там же стр. 202

новоселье» буквально переложил отзыв журнала о революции в стихи. Резко осуждая Францию эпохи первой империи и реставрации, Чернышевский не только ни словом не говорит о каких-либо отрицательных сторонах Франции эпохи первой революции, но настаивает на том, что «нелюбовь, заслуженная французами первой империи и реставрации, незаслуженным образом распространилась и на их предков»¹. Цензура помешала Чернышевскому прямо сказать, что этими предками были деятели первой революции, как она помешала ему сказать, что «свежие на правления мысли, возникавшие в молодом поколении мыслителей... людей с твердыми убеждениями, со свежими силами»² — были мысли защитников идей утопического социализма, который исповедывался Чернышевским.

Друг и сотрудник Чернышевского, отчасти его ученик — Добролюбов был так же страстным и убежденным пропагандистом русской революции, которую он называл «желанной и светлой»³. И он, как

¹ Полн. собр. соч., т. II, СПб 1905, стр. 195

² Там же, стр. 195.

³ См. статью А. К. Джигалова «Добролюбов и идея революции». «Литература и марксизм», 1931, кн. 3, стр. 65—69.

и Чернышевский, прикровенно звал к революции в статьях, в которых за рассуждениями о западноевропейских революционных движениях скрывались призывы к революционному преобразованию русской жизни. Говорил ли Добролюбов о «забитых людях» или о русском «простонародье», о Гавацци или Кавуре, он намекал на русскую жизнь которая должна пройти тот же революционный путь, который прошла и Западная Европа, начиная с 1789 г. Добролюбов говорил о том, что «благодаря историческим трудам последнего времени и еще более новейшим событиям в Европе» (намек на революцию 1848 г.), мы теперь менее чем когда-либо можем отрицать наличие у всех народов стремления «к восстановлению своих естественных прав на нравственную и материальную независимость от чужого произвола»¹. Прямое указание на то, что для России неизбежен тот революционный процесс, какой имел место в политической жизни Западной Европы с 1789 г., нетрудно усмотреть в следующих строках статьи «Черты для характеристики русского простонародья», из которой приведена и предыдущая цитата:

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собр. соч. под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского. Гослитиздат, т. II, 1935 стр. 272.

«Мы еще только готовимся вступить на тот путь, которым прошла Европа; мы еще недавно и глядеть-то стали на ее путешествия и едва начинаем различать дорогу. От этого мы идем робко, неровно, как бы ощупью, но мы чувствуем надобность идти, *хотя бы до первой станции*..¹ Ясно, что начало нашего пути должно быть совершаемо с большею решимостью, спешностью и твердостью, нежели продолжение пути, которое мы видим теперь у других народов»².

В статье «Забитые люди» Добролюбов между строк дает ясно понять, что он возлагает надежду на то, что они, «забитые люди», руководимые теми, кто имеет «достаточную долю инициативы», пойдут по тому же пути, по которому «средний класс» пошел еще в революцию 1789 г.³

Здесь же Добролюбов дважды выражает ей полное сочувствие. Говоря мимоходом о Карамзине, он отмечает у него отсутствие сознания «общих человеческих прав и интересов» и в доказательство напоминает о «Письмах русского путешественника», особенно из Франции, т. е. особенно о тех письмах Карамзина, в ко-

торых дискредитируется Французская революция¹. В другом месте статьи, беря под свою защиту французов, которых «мы напрасно так уж наповал осуждаем... как пустозвонов», Добролюбов пишет: «Нет, и они исполняют по временам задачи не маленькие, и во всяком случае размах у них шире нашего. Мы, вон, возмись над каким-нибудь энциклопедическим словарем, над какими-нибудь изменениями в паспортной или акцизной системе... А они—«составим, говорят, энциклопедию» — и составили, — не чета нашей; «издадим, говорят, совсем новый кодекс» — и издали тотчас; «отменим то и другое в нашей жизни» — и отменили»². Тут приводится на память русскому читателю и знаменитая предреволюционная «Энциклопедия», и «Декларация прав», и конституция 1793 г.

Младший современник Чернышевского и Добролюбова — Писарев не обнаружил той последовательности и прямолинейности революционного миросозерцания, какая присуща была обоим революционерам-демократам. После ареста он как будто старался внешне приглушить тот революционный пыл, каким был проникнут

¹ Курсив мой. — Н. Г.

² Там же, стр. 273.

³ Там же стр. 404—405

¹ Там же, стр. 382.

² Там же, стр. 400

его памфлет «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», за который он поплатился Петропавловской крепостью. Но при всех оговорках, какие делал Писарев, он всегда оставался идейным революционером. Первая Французская революция находила в нем своего апологета не только в первой стадии ее развития. На нее он живо откликнулся в статье «Генрих Гейне» (1862 г.), ей целиком посвящены «Исторические эскизы» (1864 г.), на тему о ней написана статья «Французский крестьянин в 1789 г.» (по поводу романа Экрмана-Шатриана; напечатана в 1868 г.).

Писарев упрекал Гейне в недостаточно серьезном отношении к революции, в том, что он, любясь парадной стороной революции, отвернулся от нее, когда увидел в ней отсутствие «лавандного масла». «Кто смотрит на события с эстетической точки зрения, — говорит Писарев, — тот не может быть двигателем событий, так точно, как не может быть хирургом тот ребенок, который смотрит на lancеты как на блестящие игрушки»¹. Перечисляя огромные завоевания Французской революции, в ре-

зультате которой «великое множество агонических стоил, не чищенных со времен Гуго Капета, снесено прочь до основания» Писарев заключает: «Вообще в одно десятилетие был сделан невероятно громадный и совершенно бесповоротный шаг вперед которого потом не могла затушевать самая бешеная реакция»¹. С презрением и злостью Писарев третирует либералов и «того толстого Людовика», наперекор всем историческим фактам, упорно именовавшего себя XVIII-м, который не осмелился даже заикнуться о восстановлении цехов, внутренних таможен, местных обочаев, церковной десятины, помещичьих прав: «Это значило бы буквально искать вчерашнего дня или прошлогоднего снега»

В «Исторических эскизах» Писарев оправдывает все те «эксцессы», которыми сопровождалась революция: требовать благоразумия, справедливости и изящества от французского народа поры революции можно было только от того, кто не знает того положения, в каком застала народ революция 1789 года³. «Превращенный историческими обстоятельствами в голодного волка, прол-

¹ Там же, стр. 279

² Там же, стр. 279

³ Соч. Д. И. Писарева, 5-е изд. Ф. Павленкова. СПб. 1912, т. III, стр. 150

¹ Д. И. Писарев. Избр. соч. под общей ред. В. Я. Кирпотина. Гослитиздат, 1934, т. I, стр. 291.

тари, — говорит Писарев, — не обнаружил голубиной кротости, и историки изумились и ужаснулись»¹.

Писарев утверждает, что террор Французской революции объяснялся не злой волей ее вождей, не инициативой якобинских незуитов, не газетами Демулена и Марата, а озлоблением обездоленных народных масс: вожди лишь стремились к организации тех сил, которые существовали независимо от них и которые толкали их тогда, когда они готовы были приостановиться. «Стало быть, — резюмирует Писарев, — мы видим, что окружающие элементы переделали на свой образец якобинский клуб; следовательно, действующая сила лежала и лежит всегда и везде не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих и преимущественно — в экономических условиях существования народных масс»².

Решающее значение народных масс на примере Французской революции Писарев подчеркивает и в статье «Французский крестьянин в 1789 году». Чтение романов, подобных роману Эркмана-Шатриана, по мысли Писарева, вызывает в читателе выше-

го или среднего класса общества «чувство спасительного смирения», потому что на каждом шагу напоминает ему, что «настоящим фундаментом самых великолепных и замысловатых политических зданий всегда и везде является народная масса»¹. Одной из интереснейших задач новой истории Писарев считает разрешение вопроса, «как и почему разоренный и забытый народ мог в решительную минуту развернуть и несокрушимую энергию, и глубокое понимание своих погрешностей и стремлений, и такую силу политического воодушевления, перед которой оказались ничтожными все происки и попытки внешних и внутренних, явных и тайных врагов, как и почему заморенный и невежественный народ сумел и смог подняться на ноги и обновиться радикальным уничтожением всего средневекового беззакония»². Из всех героев романа Эркмана-Шатриана Писарев больше всего привлекает Матюрен Шовель, «разносчик книг до революции, затем депутат от третьего сословия в Национальное Собрание, «вполне герой, фанатик общественного блага, человек, не боящийся ни труда, ни лишений, ни опасностей, ни

¹ Там же, стр. 130.

² Там же, стр. 171.

¹ Д. И. Писарев. Избр. соч., т. II. Гослитиздат, 1935, стр. 570

² Там же, стр. 573

боли, ни смерти». Он действует в борьбе с враждебными революции силами так же решительно и непоколебимо, как медик в случае надобности «безо всякого зазрения совести и без малейшего колебания будет действовать на зараженную часть тела острыми кислотами, шпанскими мушками, растравляющими мазями, ляписом, огнем и железом»¹.

Органически близки и дороги были идеи Французской революции и Салтыкову-Щедрину, как и другим революционным демократам. В «Признаках времени» (глава «Сила событий», 1870 г.) он зло издевается над мекленбург-стрелецким обывателем, который обрушивается с обвинениями на Францию, «на которую мир смотрел как на пламя, согревающее историю человечества, по почину которой на наших глазах совершилось возрождение целой Европы, и которая, наконец, в конце XVIII столетия внушила ему позыв к свободе, а в 1848 г. дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве». Вина Франции перед немецким обывателем, оказывается, в том, что, «занявшись преследованием мировых задач», она забыла о миллионе тех домашних подробностей, которые волнуют

мекленбуржцев, гессенцев, гогенцоллернов¹.

В очерках «За рубежом» (1880 г.) Щедрин писал о том, что с представлением о Франции и Париже не только для него, но и для его сверстников в 40-е годы соединилось «нечто лучезарное, светоносное, что согревало... жизнь и в известном смысле определяло ее содержание». «Мы не могли, — пишет Щедрин, — без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда происходило». Эти симпатии к Франции эпохи первой революции у Щедрина и его единомышленников особенно обострились около 1848 года, и всякий успех деятелей июльской монархии их огорчал, неуспех же — радовал. Увлечение принципами 1789 г. было причиной того, что революционно настроенную молодежь радостно взволновало падение Бурбонов и провозглашение республики. События казались громадными, и за ними скрадывалась фальшь подробностей. «Франция казалась страной чудес». «Можно ли было, имея в груди молодое сердце, — спрашивает Щедрин, — не пленяться этой неистощимостью жизненного

¹ П. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. VII. Гослитиздат. Л. 1935, стр. 177—179.

¹ Там же, стр. 583—584.

творчества, которое, вдобавок, отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше?»¹.

В какой мере то поколение, о котором говорили Герцен и Щедрин, живо воспринимало идеи Французской революции, свидетельствуют строки письма уже не революционера, а либерала Тургенева к Полонскому, написанные в 1876 г., в связи с сербо-черногорско-турецкой войной, вызвавшей добровольческое движение в пользу славян в русском обществе. «То, что у нас теперь совершается, — писал Тургенев, — тот же Крестовый поход, вещь огромная, историческая — но все-таки все мои симпатии, как сына XIX века, направлены не туда, а к гораздо позднейшим² явлениям — хоть бы к революции 89-го года»³.

В «Войне и мире» Толстого Пьер на рауте у Анны Павловны Шерер говорит «Революция была великое дело». И когда хозяйка с недоумением восклицает: «Революция, цареубийство — великое дело? — Пьер отвечает: «Я не говорю про царе-

убийство. Я говорю про идеи». И на реплику присутствующего на рауте виконта: «Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства» Пьер вновь возражает: «Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эманципации от предрассудков, в равенстве граждан».

Эти мысли Пьера через сорок лет, откликаясь на русскую революцию 1905 г. и несколько варьируя их, повторил сам Толстой. В статье «Единое на потребу», порицая Марата и Робеспьера и говоря с «заблуждениях» «большой Французской революции», он писал: «Деятели революции ясно составили те идеалы равенства, свободы, братства, во имя которых они намеревались перестроить общество. Из принципов этих вытекали практические меры: уничтожение сословий, уравнивание имуществ, упразднение чинов, титулов, уничтожение земельной собственности, распушение постоянной армии, подоходный налог, пенсии рабочим, отделение церкви от государства, даже установление общего всем разумного религиозного учения. Все это были разумные и благодетельные меры, вытекавшие из выставленных революцией несомненных, истинных принципов равенства, свободы, братства. Принципы эти,

¹ То же издание, т. XIV, 1936, стр. 161—163

² Явная описка, вместо раннейшим.—Н Г

³ Документы по истории литературы и общественности. Выпуск второй. И. С. Тургенев. М.—П 1923, стр. 61.

так же как и вытекавшие из них меры, как были, так и остались и останутся нетинными и до тех пор будут стоять как идеалы перед человечеством, пока не будут достигнуты. Но достигнуты эти идеалы никогда не могли быть насильем»¹.

Близкие к этим мысли мы находим в записи дневника Толстого 20 августа 1904 г.: «Читая историю Французской революции, становится несомненно ясно, что основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн) несомненно верны и должны быть провозглашены и что, как он говорит, *воображаемый человек*, т. е. идеал человека, гораздо действительнее француза известного времени и места, и что руководиться этим *воображаемым человеком* для устройства жизни гораздо *практичнее*, чем руководиться соображениями о свойствах такого-то и такого-то француза; ошибка была только в том, что провозглашенные принципы предполагалось осуществлять так же, как и прежние злоупотребления: насильем»². Ту же мысль Толстой повторяет в дневниковой записи 22 октября 1904 года: «Французская боль-

¹ Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. под общей ред. В. Г. Черткова, т. 36, стр. 104—105.

² Полн. собр. соч., т. 55. Подчеркнуто Толстым.

шая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насильем»¹. 3 июля 1905 г. Толстой записывает: «Как французы были призваны в 1790 году к тому, чтобы обновить мир, так к тому же призваны русские в 1905»². В дневниковой записи 31 декабря 1905 г. Толстой восхищается героизмом монпаньяра Ромма, воспитателя Строганова. Героизм Ромма в соединении с его физическим щедеушием приводит ему на память любимого старшего брата Никольенку, также отличавшегося большой силой духа при слабом физическом сложении. В июле 1905 г. Толстой пишет Э. Кросби: «Преступления и жестокости, совершающиеся в России, ужасны. Но я твердо уверен, что эта революция будет иметь для человечества более значительные и благотворные последствия, чем Великая французская революция»³.

Таким образом Толстой безоговорочно признает «значительные и благотворные последствия» Французской революции, хотя от русской революции ждет последствий еще более благотворных.

¹ Там же, стр. 98.

² Там же, стр. 151.

³ Там же, стр. 413—414.

В мае 1906 г. М. Горький написал страстный, негодующий памфлет «Прекрасная Франция», в котором он с гневом и презрением обрушился на современных ему финансовых хозяев Франции, пришедших на помощь русскому царизму своим денежным займом. Этот заем нужен был Николаю II для подавления революции 1905 года. Горький сопоставляет Францию поры революции 1789—1793 гг., когда она была «колокольной миной», с которой раздались «три удара колокола справедливости, раздались три крика, разбудившие вековой сон народов — Свобода, Равенство, Братство», — с Францией начала XX в., «содержанкой банкиров», «противной торговкой», и в глаза этой продажной Франции он бросает «плевок крови и желчи».

В своем памфлете Горький с большой художественной выразительностью и с большим публицистическим темпераментом показал, как вершители судеб Франции в начале XX века бесстыдно попрали великие идеи, провозглашенные революцией 1789 года, как обеславили себя и мораль, но деградировали реакционные потомки той буржуазии, которая некогда была орудием исторического прогресса.

Их духовные дети и внуки привели Францию к той катастрофе, какую она

пережила в результате оккупации ее гитлеровскими полчищами. Из их среды вышли предатели народных интересов и народная члесть — Лавали, Петены и прочие прислужники и холопы германского фашизма. Но здоровые силы великой страны, ее подлинные патриоты, благодаря помощи свободлюбивых наций, объединенных в своей борьбе против звериной стихии гитлеровского империализма, восторжествовали над фашистскими насильниками — и немецкими и своими собственными.

Франция сбросила с себя иго захватчиков, и для нее настала светлая эпоха возрождения к свободной и творческой жизни, достойной великого народа. История этого народа прославила себя революцией 1789—1793 гг. Французский народ — творец Парижской Коммуны 1871 г., когда впервые в истории человечества рабочий класс взял власть в свои руки. В истории Франции теперь должны воскреснуть идеи гражданского общежития, завещанные ей всем ее большим революционным прошлым.